Наталья ХАТКИНА

СТАРЫЙ ФЛИГЕЛЬ

1

Когда совсем измучится душа
под грузом честиых слов и
обязательств срочных,
я вспомню дом, где ждут,
где свет не гасят ночью,
где мне и врать, и плакать разрешат.

Где сами притворятся: «Ты жива?»
И приласкают, чем и успокоят,
или нагрузят тяжестью такою,
что перед ней — пустяк все
честные слова.

Я посижу — и выйду. Без гроша,
но вроде легче, и сама я лучше.
Но это — на потом, на крайний случай,
когда совсем измучится душа.

2

Приключилась беда, и бегу я туда,
где когда-то мне ждать обещали всегда.

Вот бегу я туда, прибегаю, а там —
ямы вырытых яблонь и строительный
хлам,

и какие-то дети, и башеиный кран,
только башенный краи, только с гирей
таран.

И записка под камнем трепещет —
«Прости.
Не дождался, снесли меня. Видишь —
снесли».

回 回 回

Любая страсть опасностью чревата —
в конце концов решать, кто виноват.
Но прав всегда перед сестрою брат.
Опять ищу, кого любить, как брата.

И нахожу.
О, как со мною он
и чист, и прост.
И как мы с ним похожи —
вдруг разом говорим одно и то же.

Чай допит, взор ничем не замутнен.
Рассвет вот-вот. Светлеют окна в сад.
Душа открыта, и постель не смята.

И он — чтоб он пропал! — не виноват,
и я — чтоб мне пропасть! — не виновата.

Лет прошлых, лет громких журналы
куплю — позабавлюсь ужо! —
как молоды, как неженаты
и как знаменнты свежо

все те, кто сегодня кумиры,
все те, кто забыты давно,
голодные рыцари лиры —
как молоды! — просто смешно.

Не знают, не знают — и спорят,
и что этих споров пьяней! —
о космосе или о спорте,
о славе, о славе — о ией.

Не зиают, ие знают — и судят.
А я на них сверху гляжу,
как будто бы ниточки судеб
в руках своих слабых держу

и вижу — кто канет, кто вспрянет,
параболы и витражи,
кто счастливо всех нас обманет
и кто захлебнется во лжи.

И вижу, в сколь дальние страны
им выписан звездный билет,
откуда уже ни возврата,
ни всхлипа, ни отклика нет.

И что-то мне так одиноко,—
как будто бы отняли речь —
и жалко.
И трудно быть богом —
ни высмеять, ни остеречь.

回 回 回

Когда иа крик бросаюсь я с постели
и на «агу» протягиваю руки,
я забываю, сквозь какие муки
я добралась до этой колыбели.

К чему я шла и от чего бежала,
какие зиала казни и коварства.
В руке — пеленка, и в другой —
лекарство.
И в памяти — блаженные провалы.

回 回 回

Оказалась бесцельиой забава
складиым словом людей занимать,
ведь у них есть бесспориое право
не любить меня, не понимать.

Если я ничего не открыла
никому — ни рабу, ни царю —
значит, я не о том говорила,
и сейчас не о том говорю.

Владимир ЛЯЛЕНКОВ



Роман

...когда настанет утро,
ты скажешь: «О, если бы был
уже вечер!»
Когда же придет вечер,
ты будешь молить,
чтобы пришло утро...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В потемках я выбрался из вагона, пробежал к деревянному вокзальчику. В зале ожидания ни души, пахнет чем-то кислым. И холодно, холодней, чем на улице, но там льет дождь. Вошел милиционер, сказал, что в такое время в Кедринск не попасть: дорога разбита, ночью автобус не ходит. Нужно ждать утро. В седьмом часу придут машины за рабочими, которых возят из деревни на стройку. И я доберусь с ними.

Чтобы ночь пробежала незаметней, я прилег на скамейке, вскоре уснул. А проснулся утром от шума: три цыгана выкладывали руками кислую капусту из бочки в ведра. Вокруг них сновала цыганка в платке до пят. Что-то кричала мужикам, те коротко, резко отругивались.

Увидев меня сидящим, цыганка подошла, предложила погадать. На вид ей лет двадцать. Она была красива, от нее пахло мочой.

— Не надо мне гадать. Отойди.

— Дай покурить, красавчик...

Машины уже стояли возле магазинчика, к ним сходились рабочие. За ночь я продрог, ноги в коленях окоченели. Я с трудом забрался в кузов ближней машины. Тронулись.

Дорога тянулась хвойным лесом, вся в ухабах, залитых водой. Проплыла мимо деревенька: дворы не огорожены, трубы не дымят, людей не видно. У крайней избы показался босой мужик. Проводил машины взглядом, помочился и скрылся в дверях.

Машины перевалились через бугор, очутились в Кедринске: одна улица, в стороне несколько бараков. Штук пять изб — остатки снесенной деревни Кедринка. Севернее от жилья промплощадка, труба строящейся ТЭЦ. Вокруг всего этого сырой хвойный лес со множеством озер и болот.

На дороге непролазная грязь. Даже там, где успели покрыть землю бетоном, она доходит до щиколотки. Возле управления стройтреста колонка. До прихода служащих я вымыл ноги, туфли.

Начальником отдела кадров треста работает пожилой, полный еврей Штокман. Он небрежно просмотрел мои документы.

От автора: роман написан еще в 1965 г., но все мои попытки напечатать его не увенчались успехом.

— Пойдете в СУ-пять, там начальник Гуркин Иван Антонович. Но прежде зайдите к управляющему.

— Зачем?

— Для собеседования...

Управляющий предложил сесть. Не отрывая глаз от бумаг, задавал вопросы. Я смотрел на огромный голый череп, на плечи, торчавшие палками под рубашкой. И отвечал.

— Ну, а бетонные работы хорошо знаешь? — гудел глухой, подвальный бас.

— Знаю.

— Земляные?

— Знаю.

— Работал прежде?

— Работал. Рабочим на стройках. Руководить не приходилось.

— Научишься. Женат?

— Нет.

— А водку пьешь? — темные, старчески-мутные глаза уставились на меня в упор.

— Случается.

— Гм... Ну ладно. Скажу одно: знай, с кем пить, где, когда и сколько...

После управляющего я представился начальнику СУ-5 Гуркину, главному инженеру Самсонову. От них вышел в должности мастера по строительству больничного городка будущего города. На складе получил резиновые сапоги, брезентовый плащ с капюшоном.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Итак, я теперь не студент, не иждивенец. А вполне самостоятельный человек.

Живу в трестовской гостинице-общежитии, в двухэтажном домике, окруженном лужами, в двухместной комнате с трестовским бухгалтером Околотовым. Когда я только поселился, принял меня Околотов неприветливо. Я написал родным письмо, сходил в столовую. Потом лежал на койке, задрав ноги на спинку ее, курил и мечтал. В шестом часу дверь раскрылась, вошел высокий худой старик в плаще и в кожаной фуражке с длинным козырьком. Он бросил на стол пачку газет, постоял молча и спросил:

— Вы надолго поселились, молодой человек?

— Не знаю,— сказал я.

— Вы в командировке?

— Нет. Я приехал работать.

Он еще постоял и отправился к коменданту, крохотной доброй татарке, просил поселить меня в другой комнате. Дескать, он берет часто работу домой, я буду мешать. Но свободных мест больше не имелось, и я остался жить с ним. Никакой работы Околотов домой не приносит,— он просто привык к одиночеству. Выписывает массу газет. Перечитывает их все, делает из них вырезки, выписки. Выписки заносит в толстую тетрадь в черном переплете, которую хранит в фанерном чемодане, напоминающем сундучок. Занимаясь этим делом, Околотов терпеть не может моего присутствия. То и дело косится на меня, ерзает на стуле, хныкает в нос. И я оставляю его наедине с самим собой.

— Я закроюсь, Борис Дмитрич,— провожает он меня,— а нужно будет зайти — постучите.

— Хорошо.

С жильцами гостиницы он не общается. За исключением жильцов четырнадцатой комнаты, работников бухгалтерии СУ, пожилых людей. По субботам играет у них в карты. Иногда возвращается от приятелей под хмельком. Тогда медленно раздевается, кладет в чашку с разведенным спиртом свои вставные челюсти. Гасит свет, садится на койку, сидит подолгу, обхватив голову руками, уперев локти в острые колени. Вдруг вскочит, начинает ходить большими шагами от окна к двери. Кому-то задает вопросы. Сам же отвечает

на них шепотом, отчаянно жестикулируя руками. Потом заберется в постель, укутается в одеяло и лежит не шевелясь.

Он не из местных. До сорок шестого года жил в Белгородском районе, работал главбухом пивоваренного завода. Там же работал техноруком некий Суворов, отличный специалист и отчаянный жулик. Аккуратный в работе главбух мешал жить Суворову. И тот, пользуясь опытом друзей, состряпал на Околотова донос: Околотов в армии не служил, во время оккупации выдавал немцам коммунистов и евреев.

Околотов не служил в армии из-за больных почек и сердца. При немцах жил в своем домике неподалеку от полуразрушенного завода с женой и маленькой дочерью. С немцами никаких дел не имел. Но Суворов подкупил свидетелей. Плюс к этому жена бухгалтера, женщина полуграмотная, запуганная, подписала в милиции бумагу, которая якобы должна была облегчить судьбу не только мужа, но и всей семьи. Околотова упекли в тюрьму на десять лет. Спустя восемь лет его выпустили, реабилитировали. Он поехал к родным, от которых за все восемь лет не получил ни одной весточки. Приехав в родные места, узнал: едва его посадили, жена домик продала, уехала с дочкой на Север, в Тихвин, к своей престарелой матери. Желание видеть дочь привело Околотова в этот город. С неделю он жил в гостинице. Ежедневно встречался с дочерью, которой мать внушила с детства, что отец ее умер от болезни. Потом Околотов переехал сюда. Он регулярно посылает семье деньги, но навещает редко. Когда навестит, с женой совершенно не разговаривает. Отдаст дочери подарки, погуляет с ней. И возвращается обратно в Кедринск. Дочь тоже приезжает к отцу, обычно в субботу на воскресенье. При ней он становится другим человеком. Много и бесполезно суетится. Закупает множество закусок, сладостей. Он вегетарианец, питается крайне умеренно. А тут все ест и сам, лишь бы дочь угощалась. Хотя после страдает желудком.

— Чего бы ты еще хотела, Оленька? — повторяет он то и дело.— Скажи, родная? — И на лице его гуляет блаженная улыбка помешанного.

Обычно я оставляю их наедине. Иногда Околотов приглашает меня посидеть с ними, чтобы дочери не так скучно было. Приглашая, улыбается мне заискивающе, как-то по-собачьи. Отказаться трудно.

На столе появляется коньяк. Околотов то и дело подливает мне, приговаривая:

— А мы еще маленько выпьем... Борис Дмитрич весь день провел на открытом воздухе. Оно и ничего, даже полезно выпить...

Оля кончает десятый класс, собирается в институт. Расспрашивает о студенческой жизни. Я горожу всякий веселый вздор, она хохочет. Смеется она великолепно.

Спать укладываем ее на отцовой койке. Он ложится на моей. Я стелю себе на полу возле радиатора.

— Пап, ну, может, простишь и вернешься домой? — услышал я однажды, проснувшись под утро от холода.— Как хорошо бы жить вместе!

— Нет, доченька, нет, моя красавица,— шепелявил Околотов,— не могу я сейчас этого сделать с теперешним моим характером... Будут часто скандалы, Оленька. А ты не должна их знать. Вот уедешь в институт, тогда посмотрим...

После отъезда дочери Околотов дня три ходит бодрым. Газеты не читает, вечера проводит у бухгалтеров. Даже беседует со мной. И всегда на одну и ту же тему: истинные человеческие чувства могут связывать только родителей и детей. Потому люди должны совершать поступки по отношению друг к другу только согласно принципам. Даже вступая в брак, люди должны исходить из каких-то принципов. Ибо чувства непостоянны, тленны, меняются от обстоятельств. Я пытаюсь возражать, привожу примеры из литературы. Околотов начинает браниться, ругает писателей. Не каких-то отдельных, а всех огулом: они сами живут чувствами, много страдают. Выливают свои страдания на бумагу и заставляют людей переживать чужое горе. А у людей самих этого горя — хоть отбавляй.

Таков мой сосед по комнате. По утрам он выполняет для меня роль часов. Мой рабочий день начинается с восьми, его с девяти. Но уходит он намного

раньше — ровно в половине восьмого. Проснувшись от шагов бухгалтера, я лежу, слушаю его шепот, постукивание ложки в чашке. Едва он уйдет, я вскакиваю, умываюсь, пью чай и спешу на работу.

Больничный городок строится на окраине будущего города. Города еще нет, потому мой объект стоит на отшибе от основной стройки. Я оставляю позади весь второй квартал. Пересекаю обширный пустырь, усеянный валунами, покрытый лужами, по краям которых бегают кулики, они залетают из ближнего лесного болота. Пустырь — в будущем городская площадь. За ним котлован под Дом культуры. Здесь я сворачиваю на щебеночную дорогу, ведущую к объекту. Дорога временная, мы ее часто ремонтируем. А машины с помощью дождей разбивают ее. Недавно ночью на дороге образовалась яма: под полотном была карстовая воронка, и грунт просел. Не успели мы утром засыпать яму, как из-за угла второго квартала вырвался зеленый «козел» управляющего. На всем ходу влетел в яму, взревел и заглох. Мой непосредственный начальник, прораб Федорыч придерживается древнего солдатского правила: как можно реже попадайся на глаза начальнику. А под горячую руку не лезь вовсе.

— Иди, расхлебывайся,— толкнул он меня в плечо, сам исчез в дверном проеме главного здания.

С рабочими я пошел к машине.

— Где прораб? — ответил на мое приветствие управляющий.

— Иван Федорыч ушел на лесозавод,— сказал я,— опять нам досок не дают.

Едва машину вытащили, она развернулась и укатила. В тот же день Федорыч получил выговор по тресту «за плохое состояние подъездных путей к объекту».

— Нехай,— отмахнулся он, узнав новость,— у меня этих выговоров было столько, что собери их все в кучу да раздели на линейный персонал нашего СУ, достанется всем по десять штук на рыло. Да. Я, брат, двенадцать лет работаю прорабом. Только здесь пережил трех управляющих, двух главных треста и четырех начальников нашего СУ. Так-то...

Специального образования Федорыч не имеет. Еще до революции окончил три класса сельской школы. Прошел через гражданскую, финскую, Отечественную войны. Четыре раза был ранен. Последнее ранение получил в ногу, потому немного хромает.

После войны отработал год в милиции, откуда сбежал.

— Что творили, что творили тогда в милиции,— поясняет он причину своего бегства,— как хотели измывались над народом. Не выдержал я и сбежал. Понятно, не говорил действительности своих желаний. Сказал, мол, раны болят, не могу и так далее. Там, брат, правду эту в затылке держи. У-у! Теперь вот иначе. Вон,— кивнул он на подвернувшиеся к случаю три милицейские формы, пробиравшиеся по грязи в сторону деревушки Окново,— идут себе и пусть идут. И никто на них внимания не обращает. А тогда б со всех щелей смотрели: куда сразу трое, кого забирать?..

Как бы рано я ни пришел на объект, Федорыч уже здесь. Либо бранит ночную сторожиху Настю, разбуженную им только что. Либо сидит в прорабской, смотрит через окно на дорогу.

— С новым днем, со старыми заботами! — встречает он меня.

Часто сразу же закашливается. У него больные легкие. Кашляет он затяжно, тужась так, что припухшие серые щеки розовеют. Шея надувается. И похоже, будто вся его низенькая, плотная фигура становится толще.

— Будь проклята эта весна,— хрипит он, утираясь платком,— дожди, слякоть, сырь...

Даже в сухую погоду он спит по ночам плохо. Когда сыро, ночи проводит полулежа на подушках. С утра настроение у него скверное.

Каждую весну и осень он собирается на пенсию, но не уходит.

— Тишины не переношу, Дмитрич. Черт знает что! И скажи ты: баба у меня славная. Обе дочки ласковые, приветливые. Я их люблю. А не могу сидеть дома! Ездил в деревню. Думал, половлю рыбки, подышу в соснах — нет! Как чужой ходил там от тишины. И недели не прожил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как и большинство самоучек, Федорыч не принимает условий, которые помогли ему выдвинуться до прораба. Все успехи приписывает своим личным качествам. Работает, опираясь лишь на опыт. Из него вывел свою единственную в мире теорию поведения прораба на работе. Он считает, что, конечно, начальству сверху видней. Но когда оно вмешивается в дела прораба, поступает глупо. Однако слушаться начальство надо. Прекословить ему нельзя, а по возможности и тайком надо поступать по-своему. Рабочие, за исключением некоторых, пройдохи и лентяи, за ними нужен глаз да глаз. И с ними нужно быть строгим. По натуре же он добрый, мягкий человек. Выработал в себе привычку самовозбуждения. Делая выговор, замечание по какому-нибудь пустяку, начинает с низкой ноты. Постепенно повышает ее, кричит, трясет щеками, краснеет. Распалившись, совершает обход по объекту, рассыпая ругань налево и направо. Уже вспотевший, дрожащий от негодования вбежит в прорабскую, опустится на лавку.

— Фуух!.. Ну контингент, контингент подобрался... Со всего света съехались Тюха с Матюхой... Топора держать не умеют, а кричат: мы плотники четвертого разряда!

В углу прорабской, за лавкой, насыпан ворох стружек. Под ними всегда покоится бутылка с перцовкой. В аптечке стакан. Врачи запретили Федорычу выпивать. Дома жена строго следит за этим делом. Он прикладывается в прорабской. Выпив, занюхав корочкой, он ставит перед собой очередную задачу. Отправляется исполнять.

Прорабская наша — длинный дощатый сарай, обшитый изнутри картоном. Разделенный на два помещения. В меньшем — непосредственно прорабская, в большем — отдыхают, обедают, а зимой греются рабочие. Здесь по утрам спит на лавке длинный, курносый плотник Курасов. Он живет в деревне километрах в двадцати от Кедринска. Ежедневно, в пятом часу утра, через деревню проходит в сторону Кедринска почтовая машина. Курасов добирается на ней, до восьми спит в будке. Он член колхоза, паспорта не имеет. Принят на работу вре́менно, хотя работает второй год. Из подобных ему прораб сколотил целую бригаду. Мечтает собрать еще одну. Эти люди хорошо плотничают. И дисциплина у них на высоте: в любую минуту прораб может уволить. А пожаловаться беспаспортному пойти некуда.

На днях с Курасовым произошел такой случай. Я осматривал на чердаке главного здания вытяжные шахты, установленные плотником. За кучей неразбросанного шлака увидел лежащего человека. Это был Курасов. Он спал. Я растолкал его, он вскинулся, ударился головой о крышу. На четвереньках пополз прочь. Я удержал его. «Да как же это?.. Эк меня сразу-то!» — повторял он сидя, потирая красные глаза.

От него несло перегаром.

— Ты пьян? — спросил я.

— Не. Нет, Борис Дмитрич, это со вчерашнего. Вчера был мой справочный день.

— Что за справочный день?

Он рассказал. Чтобы поступить на стройку, член колхоза должен иметь на руках справку: такому-то разрешается правлением поработать временно на строительстве.

В их деревне пятеро мужиков получили такие справки от председателя. За это угощают его по очереди. Вчера была очередь Курасова. С вечера он сажал картошку. Потом пришел председатель, пили они допоздна. Боясь проспать почтовую машину, Курасов не ложился вовсе. И вот забрался сюда взять забытый молоток, присел покурить и незаметно уснул.

Я отправил его домой выспаться. Пообещал прорабу ничего не говорить. Насчет дисциплины Федорыч строг. В причины какого-либо проступка вдаваться не любит. Курасову здорово бы влетело.

Рабочий день Федорыч начинает с «утренней разрядки». Разбудив Курасова, он отправляется по объекту. Вдруг останавливается возле штабеля кирпича. Облокотившись на него, скрестив ноги, кричит:

— Савельев!

— Я... о! — откликается голос бригадира молодых плотников.

— Иди сюда.

Стройная фигура вырастает перед прорабом. Бойкие, нахальные глаза смотрят на него.

— Чем занимаешься?

— Полы достеливаем в родильном отделении. Опалубку готовим для лифта.

— Материал есть?

— На сегодня хватит.

— Хорошо. Все твои вышли?

— Все, Иван Федорыч.

— Еще лучше. Позови-ка сюда Николайчика.

Бойкость из глаз бригадира исчезает.

— Ну?

— Иван Федорыч, он с обеда...

— Передай ему: еще раз — выгоню с треском... Тебя лишаю в этом месяце бригадирских. Помни: за укрывательство! Иди.

Федорыч ковыляет дальше. Он не выносит письменных выговоров. Не пишет докладных начальству на провинившихся.

— Мы этими пустяками не занимаемся. Да. Мы бьем рублем. Ох, и хороший кнутик, скажу я вам, этот рубль. Стегну, к примеру, рублей на сто, мигом поумнеет. Поумнеет, скажу я вам!

Когда дела на объекте идут хорошо и прорабом владеет благодушное настроение, он любит пофилософствовать, читать нравоучения. Поучал и меня. На третий день моей работы перед обеденным перерывом пригласил меня в прорабскую.

— Пойдем в будку, Дмитрич. Посидим, поговорим, да и обедать отправимся...

В прорабской налил мне перцовки, потом выпил сам. Кряхтя от удовольствия, потирая ладонью грудь, потную морщинистую шею, заговорил:

— Хороша, хороша, окаянная... Красное вино дрянь, московская предательница: выпьешь сто грамм, а несет от тебя перегаром за версту. Перцовка хороша: и жжет, и греет, и запаху не дает. Да... Вот что, Дмитрич, что я хочу сказать... Я конечно, для тебя ни поп, ни батька, но скажи как на духу: работать приехал или норовишь улететь?

— То есть как это? — не понял я.

— Да как... Вот приедет, к примеру, вроде тебя. Ему и это толкуешь, то поясняешь. Все грехи его на себя берешь перед начальством. А пробежало несколько месяцев, глядишь, улетел орелко! Чего, спрашивается, старался старый?

Я сказал, что приехал работать, улетать не собираюсь.

— Ну добре. Тогда вот что скажу для начала: забудь все, чему вас там в институтах учили. Забудь. Нивелир да теодолит знаешь,— загибал он свои толстые, короткие пальцы,— чертежи читать умеешь. И будет. Остальное забудь. Луди глотку, смотри волком. И никому не доверяй. Себе не верь! Сказал «пять метров» и лезь в чертеж: а пять ли их тут, окаянных? У-у! Иначе вам удачи не видать. Заклюют, съедят, костей не оставят и в дураках ходить будешь. Так-то. К тому говорю, что повидал я вашего брата, нынешних образованных. Чуть что, ох да ах, да как же так, да разве можно так?! А у нас, как на войне: делай и шабаш. Хочешь рассуждать — иди в лесочек, сядь на пеньке и рассуждай. Не улыбайся... К людям присматривайся, кто как работает. Но в душу не лезь, не забирайся! В душу и к одному не заглянешь, у тебя сотни будут в подчинении. И погрязнешь, как в болоте, а работу запустишь. Так-то. Люди, они, брат, разные. Очень даже различные, скажу тебе, во многих отношениях...

И будто для подтверждения его слов в прорабскую ворвалась разнорабочая Катя Шугулиц, по прозвищу Молдаванка. В юбке, в белой мужской рубашке, она закричала, раскинув в сторону руки:

— Ты что, старый хрыч, все нас да нас за цементом посылаешь?! Пятый

день ездим, пылюку глотаем! Больше бригад нету? Или, может, тебе взятку дать?

Федорыч откинулся к стене, выпучив глаза. У Молдаванки дрожали пальцы рук, темные губы и ресницы огромных глаз.

— Ох, Катька, Катька, смотрю я на тебя, девка... Что из тебя получится? Пропадешь ты.

— Не ваша забота,— отрезала Молдаванка.

— Пропадешь. Замуж тебе надо — вот что! — вдруг закричал прораб.— Да мужика надо такого, чтобы норов твой прикрутил по-русски! — кулак Федорыча влип в стол.

И Молдаванка обмякла. Запела:

— А ты найди мне такого, Федорыч, а? Укажи. Отцом родным будешь! Уж как я зацелую тебя, старого!

Откинув назад голову, она хохочет, не стыдясь показавшихся в разрезе рубашки смуглых грудей, не прикрытых лифчиком.

— Вот видал,— сказал прораб, едва дверь хлопнула за Молдаванкой,— начальство не уважает, по-нормальному слова не скажет. Но я не сержусь на нее. Работает хорошо и пусть работает. Одно время бригадиром была. Пришлось уволить.

— За что?

— Бьет товарок. Чуть что не по ней, сейчас — хлясь, хлясь по щекам. А этого нельзя в рабочее время...

Молдаванка мне ровесница. Родилась в деревне где-то под Одессой. Родители погибли во время войны, она жила у родной бабки по матери. Когда подросла, устроилась в Одессе нянькой в семью инженера, обещавшего выхлопотать ей к совершеннолетию паспорт, устроить на хорошую работу. Паспорт она получила. В том же году инженер изнасиловал ее в чулане на куче тряпья.

— Здоровенный был боров,— рассказывала она женщинам, сидя в будке перед печкой, спокойно перебирая в руках рукавицы,— ну, ушли они в город: сама пошла, маленького взяла. И он с ними. Я в комнатах прибрала. Только захожу зачем-то в чулан, слышу шаги. Оглянулась — он. Вскочил в чулан, дверь запер, весь дрожит. Я было кричать. Он рот мне зажал, говорит: «Не ори, а то в тюрьму засажу». Ну и обработал...

Забеременев, она перетягивалась полотенцем. Пила всякую дрянь, чтобы лишиться плода. В один из июльских дней разродилась мертвым ребеночком. Да разродилась как! Стояла в очереди за крупой. Было душно. Слепили глаза лучи солнца, белые стены домов. Хотелось ей пить и пить. Вдруг ударила кровь в голову, что-то схватило поясницу раскаленными щипцами. В глазах потемнело, дома, люди закачались. Едва хватило сил добрести до ближнего парка. Забилась там, как зверь, в кусты. От боли, жажды жевала сочную траву. Только вечером обнаружила ее милиция — стонала, будучи без сознания.

Выйдя из больницы, к инженеру и не показалась, пешком ушла в деревню. Жить там не могла, тянуло куда-то ехать. Завербовалась на строительство Волго-Донского канала, с тех пор путешествует по стране. Здесь работает полтора года. За это время дважды увольнялась, куда-то ездила. Вначале жила в общежитии, потом перебралась в Окново, стала жить в избе одинокого древнего старика Савельича. Жена прораба берет молоко в Окнове. Бабы говорили ей:

— Повезло старому Савельичу! Век прожил бобылем, все по сударушкам таскался. Своих детей не имел, так чужая девка нашлась. Избу убрала, как терем, и ходит Савельич теперь в чистом!

Удивило окновцев и другое: едва сошел снег, стала купаться Молдаванка по утрам голиком, никого не таясь, в ключевой речушке Норка, вода в которой круглый год ледяная.

Изба Молдаванки близко от городка. Но обед она приносит с собой. Усядется в сторонке от мужиков, разложит на газете яйца, хлеб, холодное мясо. Ест не спеша, аккуратно, напоминая в эти минуты повадкой кошку, когда та умывается. Вдруг обернется к мужикам:

— Эй вы, чего чавкаете? Как свиньи...

— А ты не слушай, Катя, бо еще какой звук услышишь.

Смеются.

— Куркули,— отвечает она коротко.

По воскресеньям, в сухую погоду, прогуливается она по главной улице Кедринска: голенища сапожек отвернуты. Слегка покачивая бедрами, надламываясь в пояснице, смотрит вокруг, будто никого не замечает. Точно так же, как молодой часовщик, прижившийся на стройке, с искалеченной, страшно вывернутой ногой.

Нынешняя весна выдалась дождливой, холодной. Приплывающие из Прибалтики слои влажного воздуха сталкиваются с северными, восточными слоями. Дождь сменяется снегом, градом. Но в прошлую субботу с утра светило солнце. Видна была линия горизонта вокруг Кедринска, образованная вершинами деревьев, обычно закрытая туманом. К полдню рабочие сняли куртки, спустили до пояса комбинезоны. В полдень стояла настоящая жара. И после работы я спустился к Норке. Раздевшись до трусов, обмылся, стоя на камне, хрустальной водой, под которой черное каменистое дно. Потом лежал на плаще, обсыхая. Звенели жаворонки, на той стороне женщины копали огороды. За кустами что-то прошуршало, послышался плеск воды. Я сел и увидел Молдаванку. Она стояла голиком по колено в воде, пригоршнями плескала воду на плечи, на грудь. Брызги метались роем. Солнце освещало смуглое прекрасное тело женщины, над ним вспыхивал на мгновение желтоватый венец радуги...

— Фигура, ну и фигура,— говорит о Молдаванке прораб, сочувственно качая головой. Вкладывая в зто слово понятие: человек, его характер. Произносит зто слово, но только восхищенно качая головой, когда говорит о бригадире плотников Жукове.

— Это фигура, я понимаю. Мне бы таких человек десять, готов до ста лет работать на стройке.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В бригаде Жукова двенадцать человек. Каждый может выполнить любую работу, какая только встретится на стройке. Бригада почти не простаивает и в самый плохой месяц зарабатывает не менее пятидесяти рублей в день на человека. На работе Жуков хмур, молчалив, даже грубоват. На новичка может произвести неприятное впечатление. Когда я только вышел на работу и сидел в прорабской, знакомился с чертежами, вошел коренастый мужик с широким сухим и немного курносым лицом. Метнул по столу острым взглядом и спросил:

— Где прораб?

— Не знаю. Куда-то вышел.

— Как придет, передай ему: в подвале вода появилась. Я людей снял. Нужен насос. Да поскорей. Иначе зальет. Я людей не поставлю туда.

Слова выбрасывал резко, как мне показалось, со злобой. Я подумал, что это горлопан, каких встречал на стройках.

Прежде он работал в Новогорске. Там кончилось строительство, перебрался сюда, поселился в Окнове, где снял избу. Сыновья его плотничают на промплощадке, получили квартиры. И оставили стариков, которые не представляют, как зто можно жить без хозяйства, потому избу не бросают.

Дома, в своей избе, Жуков ведет себя иначе, чем на работе. Любит петь песни, играет на гармошке. Окновцы приглашают его дружкой на свадьбы. Приходили прямо в прорабскую две женщины, упрашивали Федорыча отпустить бригадира в какую-то Кузнецовку, где живет невеста. Обе просительницы были нарядно одеты. Головы обмотаны цыганскими платками, закрывающими лбы до бровей. Одна из них была ярко-красива и немного хмельна.

— На два денечка-то, товарищ прораб,— просила она, наивно играя глазами, облизывая губы,— без Данилыча неловко ехать жениху за невестой!

— Да вы что, бабы,— оборонялся Федорыч,— рехнулись? Вы куда пришли? У вас одни свадьбы на уме, а у меня работа, курьи головы!

— Да на два денька-то!

— Ну кто там у вас с ума сходит? — сдался Федорыч.

И три дня, прихватив воскресенье, Жуков гулял, веселил народ. В понедельник вышел на работу, был спокоен, молчалив.

— Как погулял, Данилыч? — спросил я.

На секунду в его глазах мелькнуло что-то задорное. Но он ответил просто:

— Ничего... Погуляли...

И вот этот толковый, сообразительный бригадир совершенно не умеет работать с чертежами. Упорно не желает даже знакомиться с ними.

— Ты, Дмитрич, покажи мне на пальцах,— говорит он, подвигая чертеж,— пойдем на натуре покажешь, пошли на месте уясним.

И на месте моментально схватывает идею. Проверять его работу нет нужды. Еще ни за что не желает иметь в бригаде более двенадцати человек. Даже Самсонов просил его:

— Данилыч, прислали ребят из училища. Возьми человека три временно. Поучатся и заберем.

— Я не учитель. Дайте любую работу, я сделаю, а лишних людей мне не нужно.

— Но ведь временно!

— Что же, будет стекло в этом месяце? — перевел разговор бригадир.

Мне кажется, здесь связано что-то с предрассудками.

Один раз только Жуков изменил своему правилу. И то, видимо, потому что тринадцатым оказался подросток.

Жестянщиком в городке работает дядя Саша Герасимов. Тихий, мягкий и незаметный, он устроил мастерскую в кабинете главврача. Стучит там целыми днями молотком. Ни к кому ни с какими вопросами не обращается. Кончится железо, он сам раздобудет где-то подводу, получит на складе все, что нужно, привезет. Молча отдаст Федорычу накладную. И скроется в мастерской. Год назад умерла от рака его жена, женщина властная, державшая в руках семью вместе с мужем. Он остался с четырьмя детьми: три дочери и четырнадцатилетний Ванька. Сам дядя Саша полуграмотный. Давно принял решение: его дети будут инженерами. Какими там инженерами — это не имеет значения. Старшая дочь уже поступила в институт, две другие, двойняшки, заканчивают седьмой класс. А Ванька после смерти матери школу бросил, повадился ходить на беседы в Окново. С одним из приятелей выпил водку, хранившуюся в столе для всякого случая. Чтобы оттянуть расправу, в бутылку налили воды. Расправа пришла, на другой день Ванька очутился в прорабской. Стоит, смотрит в пол и шмыгает припухшим носом. Под глазом у него ссадина. Дядя Саша сидит на скамейке, мнет в руках ржавую кепку.

— Возьми, Федорыч, хоть как возьми,— просит он,— хоть не плати ему ничего — лишь бы к делу пристроился. Как стоишь? Ты куда пришел? — кричит он сыну.

Федорыч давно знает жестянщика. Знает о его беде.

— А ты к своему делу пристрой,— говорит он.

Дядя Саша даже взвизгивает:

— Пробовал! Уж куда бы лучше! Да не хочет, подлец. Ткну его маленько, чтоб уразумел, губы развесит и хоть убей его, не сдвинется с места. Как стоишь, спрашиваю?

— Н-да... Дело сложное... Теперь вот таких в колонии сажают... да... не кормят и через день розгами стегают. А то и каждый день. Что ж, я попробую взять, только в милицию надо позвонить.

Федорыч выходит, я за ним. Решаем взять мальчишку.

Оформляем его учеником. Вооружаем кувалдочкой, зубилом. Прикрепляем к бригаде сантехников пробивать отверстия в перегородках для труб. Два дня он работает. Потом начинает исчезать. Явится утром с отцом, скроется в главном здании и растворится в нем: до вечера нигде не найти. После работы плетется за дядей Сашей, которому я ничего не говорю. Не хочется расстраивать старика, да и толку с этого мало — излупит и только.

— Иди-ка сюда,— подзываю Ваньку,— ты где пропадал?

— В подвале бил дырки.

— Зачем врешь? Там никто не работает.

— Я не знаю... Меня привели, указали, и я бил...

Врет спокойно, наивно глядя зелеными глазами на пряжку моего ремня. Он уже начал усваивать привычку: во что бы то ни стало в данный момент отвертеться, а там видно будет. Что делать с ним? Прикрепил к бригаде Савельева. Но дух неповиновения уже засел в подростке. Плотники прогнали его. Точно так же поступили каменщики. На моих глазах Ванька превращался в дикого, осторожного зверька, для которого весь рабочий мир — враг. Я решил убить хоть весь день, но найти его убежище. С утра осмотрел подвал, все этажи, обшарил чердак. Спускаясь вниз, заглянул в столярную мастерскую, где принятый на временную работу старичок-пенсионер изготовляет топорища, ручки для лопат и так далее. Я и прежде заглядывал сюда. Теперь же подхожу к окну, закуриваю. Взгляд мой скользнул за лист фанеры, отгораживающий угол. Там на стружках лежит Ванька. Курит папироску, пускает дым кольцами. Улыбаясь, следит за ними. Я хватаю его за оттопыренное ухо, дергаю. Покуда тащу пленника, он не произносит ни звука. В прорабской толкаю его в угол. Запираю дверь. С полчаса говорю о работе, о положении в семье, о его будущем. Под мирный тон моего голоса Ванька приходит в себя. Произносит сипло:

— А за ухи вы не имеете права таскать. Я могу пожаловаться в милицию, и вас посадят! Это вам не Америка.

Черт знает что! Отодрать бы его ремнем хорошенько. Эту мысль и высказывает Федорыч, когда присели на кирпичах за моргом, чтобы окончательно решить Ванькин вопрос.

— Был бы он мой,— ворчит прораб,— семь шкур спустил бы, а человеком сделал.

За морг в кусты прошел Жуков по малой нужде.

— Данилыч, зайди посиди, иди покурим! — позвал Федорыч.

Бригадир присел перед нами на корточки, внимательно слушает. Поднявшись, говорит:

— Я про все это знаю... Сашка мужик хороший, только дурь в голову вбил: инженеров ему подавай! А мужик деловой. Трудно ему. Сколько ж парнишке годков?

— Шестнадцатый потянул,— моментально сообразил Федорыч.

— Присылай его завтра в бригаду...

За две недели Ванька стал другим человеком. Вначале подносил плотникам доски, инструмент. Теперь у него появился топорик, подаренный Жуковым. Он шкурит доски, опиливает их по размеру. Работает в паре с бригадиром...

«Жуковцы» сейчас кончили заготовку половых лаг, должны укладывать их в кухонном отделении. Нужно вынести отметку чистого пола. Я появляюсь с нивелиром, устанавливаю его. Плотники перекуривают. Сидят кружком, Жуков и Ванька немного в сторонке. Мне сверху видна рыжая копна волос Ванькиных. Медный блин лысины бригадира, окаймленный серебристым ободком волос. Могучие плечи, обтянутые застиранной гимнастеркой.

— Что ж, Иван, осенью пойдешь в школу? — говорит Жуков.

— Не,— беспечно отвечает Ванька, скребя стеклышком топорище,— ну ее...— он скверно выругался.

— Ругаться так нельзя, Иван. А не хочешь учиться, так и не учись. Я тебя научу плотничать, потом столярничать. Любого ученого за пояс с тобой заткнем.

Я прошу плотника Никифорова походить с рейкой. Остальные говорят на политическую тему.

— Нет, Америка больно жирная,— говорит пожилой Казаков,— на Россию она не полезет. Россия жесткая, костлявая. Народ у нас стал злым от этих войн. Полезет кто — расшибем. И ракеты же теперь...

— Куда ей! Конечно! Ракету с любой стороны запускай, и угодит по назначению.

Помолчали. Возвращаются к утренней новости, облетевшей стройку: в прорабстве Еремина обнаружили в смотровом колодце труп рабочего Николаева. Николаев приехал недавно из заключения, работал землекопом-

бетонщиком. Говорит, конечно, Куприянов, длинный, сухой, как жердь. Сидит, подавшись вперед, изогнув спину колесом, будто позвоночник резиновый. В жизни он тих, муху не обидит. А рассказывает всегда о чем-то страшном, связанном с убийствами, грабежами.

— Это еще что,— он глубокомысленно смотрит на носок сапога,— этот из тюрьмы. Может быть, с ворами был связавшись, да изменил им. А у них это решается в полном откровении: где хошь найдут и прикончат. А вот в позапрошлом годе в Ершовке под вечер вышел парень из избы и как в воду канул. Двое суток прочесывали лес, не нашли. А весной обнаружил пропавшего колхозный пастух: парня убили и затолкали в ствол столетней ели у самой опушки.

— Кто ж его?

— Неизвестно.

— А за что?

— Да кто ж знает! Говорят, он был пристрастивши играть в карты с приезжими. А врачи в трупе печенки не обнаружили.

— Что ж он, на печенку играл?

— Чудак! Кто ж знает!

Жуков поднялся.

— Покурили и хватит. А то мастер скажет: сидят, сидят, а как наряды закрывать, все им мало.

Он добродушно посматривает на меня...

Потом я осматриваю кладку стен поликлиники. Даю отметку оконных перемычек. Нужно подняться на чердак, посмотреть, как подвигается работа у каменщика Борцова. Он с тремя подсобницами выкладывает из гипсолитовых плит вентиляционные каналы. Пришел к нам Борцов недавно и работает скверно. То и дело перекуривает, тискает девчат, рассказывает им анекдоты. А стоит появиться мне, он суетится, покрикивает на подсобниц. В этом месяце надо закончить каналы. Сдадим заказчику весь чердак, получим деньги. Борцов может подвести. На чердаке душно, пахнет шлаком. Так и есть: каменщик сидит на ящике для раствора, что-то рассказывает. Девушки сидят напротив, обнявшись, слушают. Заметив меня, Борцов взмахивает мастерком, стучит по плите.

— Девки, девки, пошевеливайся!

За полдня канал вытянулся метра на два, не больше.

— Почему так медленно дело подвигается, Борцов?

Он никогда просто так не выслушает замечание. Всегда ищет отговорку. Мыслит он так же, как и Ванька Герасимов, когда нагло врал мне: в данный момент вывернуться, а там видно будет. Но Ванька еще мал, глуп. Он не в состоянии был привести осмысленный аргумент и врал с умыслом, но без всякого смысла. Борцову двадцать пять лет.

— А что я сделаю? Что? — голос у него грубый, сильный, узкое лицо темно, темны густые, сросшиеся брови.— Вот эти рассядутся и сидят, как квочки. Раствор не успевают готовить.

— Когда не успеваем, Гришка? Что пустое болтаешь? — укоряют его девчата.

— Когда? Тогда! Когда в магазин бегали. Думаете, я не знаю?

— В какой магазин?

— В курносый!

И мне с некоторым укором:

— А вчера после обеда вы к нам не поднимались, а энергии не давали. Что ж я, на себе должен плиты с земли таскать сюда?

Это уж слишком: вчера день был пасмурный. Я сидел до вечера в прорабской, возился с нарядами. Лампочка горела и ни разу не мигнула. Терпение мое лопается.

— Ну вот что,— говорю, сдерживаясь,— я с тобой беседовал не раз, Борцов. Довольно. После работы получишь направление в отдел кадров.

Прохожу дальше, за спиной тишина. Федорыч приветствует мое решение.

— Добре. Давно пора прогнать этого бездельника. Надо бы с треском, да уж ладно...

С треском. Это, значит, Федорыч позвонил бы всем прорабам, назвал бы

фамилию уволенного. И повсюду ожидало бы его сочувствующее отношение к нему. Бывают случаи, когда какой-нибудь отчаянный разгильдяй совершит полный круг от прораба к прорабу и попадет опять к Федорычу.

— Иванов, ты ли? — удивляется Федорыч.— Каким ветром? Зачем ко мне?

Иванов молчит.

— Ну иди в свою старую бригаду. Иди...

Иногда человек исправляется. Иногда нет.

Когда вручаю направление Борцову, он усмехается:

— Я-то не пропаду: была бы шея, хомут найдется. Это когда вас, начальников, увольняют, вы не знаете, куда приткнуться.

Посвистывая, он уходит. Зол ли я на него? Нисколько. Я видел, что работать он умеет и может быстро работать. И он не виновен в том, что распустился. Его сделали таким порядки на стройке, система оплаты труда. Взять наш городок. Строить его начали года три назад и три раза консервировали. Побывало здесь несколько прорабов. Каждый из них старался урвать от заказчика деньги вперед, а работу не сделал. Теперь нужно делать; деньги же «съедены». А частые простои бригад из-за отсутствия материалов? Трест наш молодой, рабочие кадры слабы. Штокман до сих пор разъезжает по стране, выискивает захудалые районы, вербует людей. Едут сюда топор не державшие в руках, с печальными пометками в трудовых книжках, отсидевшие срок, не поладившие с милицией где-то. Текучесть кадров огромна, выработка низка (в отчетных документах она нормальна). А расценки на строительные работы составлены по каким-то неведомым показателям выработки. Все это и еще масса мелких обстоятельств работают в течение месяца, в конце его результат такой работы обрушивается на голову прораба. Он должен дать план, должен платить рабочим. Где же взять деньги? Где? И вот строители всеми правдами и неправдами урывают от заказчика деньги вперед. Составляют липовые акты, процентуют работы, каких и делать не будут. Как-то, как-то выкрутиться! Вывести (не заплатить, а вывести!) сносную зарплату рабочим. Начинается то, что рабочие называют туфтой. А прорабы — мастера трансформаций. Здесь-то и обнажается корень трудового разврата:

— А-а, что там упираться! Все равно больше тридцатки не выведут!

С трансформацией я познакомился так.

— Закроешь, Борис, наряды Николаевой и Грузинову,— сказал мне Федорыч,— да не тяни резину. Сдавать в контору надо. Самсонов уже звонил.

Собираю наряды, часа два сижу в прорабской. За стенками носится холодный ветер с дождем, врывается под дверь. Уныло, протяжно стонет в трубе. Прихватив журнал работ, ухожу в гостиницу. Околотов, видя, что я занят делом, отправляется к приятелям. Я уже знаю: штукатуры зарабатывают в день рублей по двадцать семь. Землекопы-бетонщики от тридцати до сорока. У меня получилось: штукатурам по шестнадцать с полтиной, землекопам-бетонщикам — по двадцать пять рублей. Что такое? Пересчитываю, роюсь в справочниках, в расценках — расчеты верны. Утром пригласил бригадиров в прорабскую.

— Может быть, мы упустили что-нибудь? Сделали, а не записали?

Николаева пожала плечами:

— Не знаю, Борис Дмитрич, вроде все учтено... Все будто бы...

Рослый, мускулистый Грузинов, проработавший на стройках лет пятнадцать, усмехаясь, поглядывал на меня. Играя кончиком кавказского ремешка, поднялся нехотя:

— Ты, Борис, отдай наряды Федорычу, тот мигом все уладит...

Прораб интересовался как бы между прочим:

— Ну как там с нарядиками? Не тяни, не тяни резину...

Я выложил перед ним бумаги.

— Мало получается, Федорыч.

Старик потер ладонь о ладонь. Брови его победоносно взлетели.

— Ну вот и до этого дошел инженер. Так сказать, сунулся носом в самую жилу! Этому, брат, в институтах не учат. Нет! Садись! — ударил он ладонью по лавке.— Вот здесь садись. Давай-ка выпьем для начала...

И он произвел трансформацию. Пробежал взглядом по нарядам. Пожевал мозгом итоговую цифру. На несколько секунд задумываясь, закрывая глаза или глядя в потолок, прикидывал что-то в уме. Молниеносно чиркал карандашом в графе объемов работ. Цифра семь превратилась в семнадцать с чем-то, тридцать шесть в пятьдесят шесть с десятыми...

Через полчаса подбиваю итог: штукатурам вышло по двадцать шесть рублей.

— Они, канальи, ленились в этом месяце,— аргументировал Федорыч заработок.

Землекопам-бетонщикам — по тридцать восемь.

— И с этих достаточно. Вполне даже. Иначе из фонда вылезем. Да. А вылезать из него нельзя. Никак нельзя. Как хочешь провинись: напейся, прогуляй — простят. Из фонда будешь вылезать — ты и болван, и руководить не умеешь. Заклюют.

Шли домой, Федорыч толковал, что трансформация — дело простое. Но производить ее надо с умом, тонко, чтоб не бросалась в глаза какая-нибудь несуразица.

— Ажур полный должен быть. Похожесть на действительность должна соблюдаться. Да. Хоть и знают об этом — от главного до министра,— но видимость действительности требуется всегда.

Старик был уверен, что я быстренько научусь такому делу. «Ты парень с башкой». Привел, явно с педагогической целью, пример «о таком же, как я», молодом специалисте Шумакове, побывавшем в Кедринске года три назад.

Носил Шумаков очки, страшно любил читать книги. Даже в кармане их носил. В тихую минуту примостится где-нибудь и читает. Дали ему отдельный мастерский участок. Да и пожалели: Шумаков закрыл своим рабочим наряды по столько, по сколько выработали. Понятно, своего рода бунт: не по своей вине простаивали! Дошло дело до самого управляющего. Но и тогда Шумаков отказался делать приписки.

— Шальной был. Начитался больно много, полил струю против ветра. Через месяц его и не стало здесь.

— Уволили?

— Еще как! Подергали, подергали, клинья подвели и — фьють!.. Да и поделом: не будь умней всех, знай свое место,— Федорыч вздохнул,— странный народ, ей-богу. Ну вот о чем он думал? «Все, мол, так, а я вот иначе, я буду белой вороной». Поделом, поделом ему...

Трансформация привела к тому, что в конце месяца рабочий не знает, сколько он получит денег. Все зависит от прораба, мастера, как они сумеют вывернуться. От выработки всего управления. Это развращает и некоторых прорабов.

Строительство домов шестого квартала ведет прораб Кустарев. Худенький, маленького роста. Со всеми вежливый, видом какой-то робкий и слабый, он ходит вечно пьяный. Причем, будь он трезв или пьян, внешне совершенно одинаков. Придет за чем-нибудь в прорабскую. Сядет и сидит, шумно втягивает воздух через крупные, круглые ноздри. Иногда и уйдет, не сказав ни слова.

— Пьян в стельку наш Гриша,— заметит Федорыч.

— По нем незаметно.

— Привычка... Ну да это ладно. Как говорится, не пьет тот, кому не за что, да кому не подносят. Другое худо: пьет с рабочими. Деньги у них берет. А это уж никуда не годится.

— Чего ж не уволят за это?

— Кто же уволит?

— Начальство.

— Это не так просто, Дмитрич. Нужны, брат, доказательства, свидетели. А их-то и не сыщешь днем с огнем. Да кому охота кашу заваривать?..

Расходимся с прорабом у почты. Я сворачиваю за угол, он ковыляет к шестому кварталу, где стоит ряд коттеджиков. В коридоре одного из них он стягивает сапоги, вешает на гвоздь фуфайку. Проходит в комнату. Выпив стакан молока, ложится на диван. Глаза его закрываются. Минут двадцать

лежит неподвижно. В квартире тихо. Только на кухне стукнет что-то — жена накрывает стол. Дочки в своей комнате чем-то занимаются. Уже традиция: двадцать, тридцать минут принадлежат только отцу. Но вот он садится, громко кричит:

— Мать, что это так тихо в квартире? Неужто девки замуж успели выскочить?

ГЛАВА ПЯТАЯ

У самой гостиницы меня кто-то окликнул. Оглядываюсь. Краевская. Пожимаю протянутую узкую ладонь.

— Давно не виделись. Ты не изменился. Как Николай? Пишет?

Она ежится в зеленом плащике. Серые красивые глазки ожидающе смотрят на меня.

— Пишет. Уже начал пальцами ног шевелить.

— Значит, позвоночник цел. Передавай привет ему.

— Хорошо. Передам.

Николай работал прорабом у монтажников. Сорвался с лесов, поломал обе ноги, руку и повредил позвоночник. Его увезли на вертолете в Ленинград. Я дружил с ним, и теперь мы с ним переписываемся. Краевская замужем, это не мешало ей встречаться с Николаем. А теперь она утешилась без него с московским армянином, приехавшим толкачом на рудник. Там творится ералаш. Начальство управления поставлено прорабами, прорабы мастерами, мастера бригадирами. Отослали туда много бригад с других участков. Но к пятнадцатому числу отправят первый эшелон известняка в Новогорск, а в Москву полетит телеграмма. Армянин поселился в гостинице, что-то не понравилось ему у нас. Перебрался на квартиру к снабженцу Роскину, который может сегодня пить с тобой, завтра будет пороть всякий вздор каждому встречному. Прибежал к нам в прорабскую: глазки блестели, весь дергался.

— Дома не ночую, скитаюсь по соседям...

Не выдержал и выложил: армянин приводит к себе Краевскую. Сколько пьют! А закуска: красная, черная икра...

Я был недавно дома у Краевского. Наш куратор Тихомиров болел, надо было кое-что уточнить в чертеже гаража. Когда я пришел, старик возился у приемника. Предложил мне чаю, заговорил о спутнике. Он еще больше постарел, обрюзг. Мне кажется, он все знает о своей половине. И тут влетела она, вся под девочку — в голубом, косички. Тридцать ей ни за что не дашь. Закрутилась вокруг мужа: она стояла в очереди за свежей рыбой, не достала. Прогулялась в лес, а там миллион тропинок. Шла, шла и заблудилась. Натолкнулась на стадо, и такой миленький пастушок вывел ее на дорогу.

— Ты голоден, мой дорогой? Сейчас тебя покормлю...

Николай говорил, что она умна. Ерунда. Она чертовски хитра, а эта сучья жизнь научила ее великолепно играть. Из нее вышла бы хорошая актриса...

В гостинице ожидают меня два письма: от родных и от Николая.

Днем в гостинице тихо, теперь она оживает. Возвращается с работы бригада эстонцев-наладчиков, командированных из Таллина. Рослые, с длинными крепкими шеями. Они моются гогоча, брызгаясь. Переодевшись, отправляются в конюшню, в бывшую конюшню, где убрали перегородки, перестелили пол. Поставили кассу и крутят по вечерам пластинки. Народу набивается много. Стены сжимают дергающуюся толпу, пахнущую потом, одеколоном. Эстонцы держатся там компанией, дают решительный отпор любому забияке. Компанией возвращаются в гостиницу, приводят с собой девиц. Тайком от вахтера проводят их через черный ход в комнату.

Появляются мягкотелые, с отсиженными задами бухгалтеры. Тихоговорливые, тихошумливые и недоверчивые. Подолгу толпятся в проходной у чайников с кипятком, который готовят вахтеры на электроплитках. Даже здесь бухгалтеры создают проблемы: устанавливают очередь, следят за ней, тихо ссорятся. Не берут те чайники, в которых вода кипела не на их глазах.

По одной, по две сходятся женщины, занимающие левое крыло. Оттуда по вечерам доносится грустное пение: в пятой комнате живут три молодые специ-

алистки. Две очень тощие, некрасивые, третья уродливо полная, со свирепым выражением глаз. Соберутся на одной койке, обнимутся, поют: «Куда ведешь, тропинка узкая...»

Легко взбежала по лестнице, просеменила стройными ножками трестовский юрист Здражевская. Оставила за собой запах каких-то чудных духов. Мужчины проводили ее взглядом. Вскоре она появляется снова, но прежде чем взять чайник, болтает с вахтершей, то и дело улыбается большим ртом. Около десятка пар глаз невольно следят за ней. Кто она? Замужем ли? Что занесло такую редкость в эту глушь?

Как будто у нее в руках не чайник, а драгоценнейший приз, Здражевская уходит к себе. Медленно ступая ногами, поднимается Околотов. Пришли жильцы двадцатой комнаты, мои приятели, молодые специалисты: Жора Маердсон, Латков Федя, Иван Рукавцов и Петя Мазин. Их комната рядом с моей. Я уже поужинал. Лежу на койке, читаю письма. Мама спрашивает, почему я редко пишу, где обедаю. Осенью она собирается на пенсию: уже не выносит морозов, очень мерзнет. Сестра вышла замуж, он тоже врач, учились они вместе, вместе уехали на работу куда-то в Казахстан. К осени мама вяжет мне двойные шерстяные носки, носить их надо будет обязательно с портянкой.

Письмо от Николая сегодня длинное. Прочитал его, снова перечитываю. На днях ему сделали перевязку. Ему легче, и он может уже полулежать на подушках. Даже может смотреть кино. Недавно им показывали кинокомедию: две девки и три парня проводили отпуск на берегу моря. Имели претензию на остроумие, на любовь. Не было ни того, ни другого, а так — пошлость. Вообще, пишет он, комедии у нас нет, она была когда-то, но это прошлое. Образование многое сделало в России. И голая задница, мелькнувшая на экране, нетопырь, свалившийся в курятник, не заставят человека хохотать, они вызовут недоумение. Кинодеятели наши отстали от жизни лет на двадцать... Он читает сейчас много, в основном классиков. «Школьная прививка против классиков улетучилась. Читая их, лучше поймешь человека, жизнь, нежели от современных авторов. Они все доказывают, что до революции было худо, а теперь хорошо. Скучно и нудно проповедуют: не убей, не укради; будешь хорошо работать — больше заработаешь, а поленишься — мало получишь. Посмотришь в биографическую справку об авторе — пожилой человек. А представление о людях дает такое же, каким оно было у нас в детстве: если уж плохой человек, то он и норовит всю жизнь делать одни пакости. Герои книг ставятся в какие-то необычайные условия, в какие ни один из читателей никогда не попадает. Одним словом, в книгах все можно найти, нет в них одного — жизни. Тех действительно существующих условий, в которых молодому человеку придется работать. Нет подлинных характеров. А раз так, книги лживы, вредны для вступающих в жизнь. Конечно, есть и хорошие книги, но где их найти? Не можешь ли ты мне помочь в этом?!»

Я хочу сейчас же писать ответы, но Околотов занял стол. Несколько раз уже посмотрел на меня поверх очков. Ухожу в двадцатую. Маердсон торопливо переодевается к вечерней вылазке в конюшню. Его не удержит ни дождь, ни холод. Явится под утро усталым, озябшим. Сбросит сапоги, свалится трупом. В начале восьмого его будут тормошить, поливать холодной водой, пока не очнется ото сна. Он на год раньше меня приехал сюда. Уже работает прорабом, ведет жилье. Латков читает. Рукавцова нет. Мазин примостился у тумбочки, пишет письмо. Золотистая косичка в ложбинке шеи Мазина топорщится хохолком. Он моложе всех нас, строен, худ и красив, как девочка.

— Партию, Петя? — предлагаю я.

— Давай.

Усаживаемся за шахматы. Счет у нас шесть — четыре в мою пользу.

— Петька, может, пойдем? — говорит Маердсон.

Мазин качает головой, и Жора уходит.

Мазин родился и рос в семье трех старозаветных учительниц, из которых самая младшая — его мать. В том же городке, где рос, окончил и техникум. И прямо из-под крыльев матери и двух старых дев прилетел сюда с чемоданом, набитым сорочками, майками. И с комсомольской путевкой в кармане. В день

его приезда была получка у строителей. В комнате собралось человек пятнадцать мастеров, прорабов. Был даже Федорыч. Много спорили, кричали, пели, пили. Потом говорили о женщинах. И Маердсон кричал: «Стойте! Я скажу вам о женщинах, о молодых женщинах! Они, как и проекты, бывают в нескольких стадиях: в стадии задания, в стадии разработки и, наконец, так сказать, в рабочем варианте. Я предпочитаю последних».

— А в стадии задания?

— Нет: хлопот много, а толку мало. Юноша,— обратился он к Мазину, сидевшему на койке,— а вы почему в стороне? Так нехорошо, иди сюда. Подвинься, Латков.

Мазин втиснулся между приятелями.

— Что будешь пить? Красное? Белое?

Мазин ничего не хотел.

— Красное,— сказал он.

— Ну можно и с этого начать...

Когда гости разошлись, Маердсон сходил в конюшню, привел Агнию Матросову, которая теперь, знакомясь, называет себя Марой. Она выросла в Окнове, после семилетки поступила в промтоварный магазин. Две продавщицы, приехавшие из Ленинграда, закончили ее образование. Сидя за столом в компании инженеров, она старалась держаться естественно и свободно. Закидывала ногу на ногу, громко хохотала. Курила, пуская дым через плечо. И выпила вина. Глупая девочка, она вела себя развязно. А намазанные ресницы, наведенная синева под глазами делали ее лицо старше и развратней. Она переночевала в гостинице. На рассвете Маердсон вывел ее через черный ход, она бросилась бежать. Жора спешил объявить приятелям удивительную новость: эта Мара была девочкой! Когда он вошел в комнату, Мазин стоял у стола. Новичок был бледен.

— Вы негодяй, Маердсон! — закричал он.— Вы развратник, вы не уважаете окружающих! Вы не советский человек!

Жора хохотал. Проснувшийся от крика Латков удивленно смотрел на новичка.

— Если еще подобное повторится, я буду драться с вами! — кричал Мазин.

Маердсон хотел рассердиться. Но понял, что новичок не шутит, сказал, прижав локти к ребрам, махая кистями:

— Ладно, ладно, Петя, больше этого не будет. Даю слово.

И Мазин не разговаривал с Маердсоном, покуда жизнь не подстроила скверную штуку.

Первое время Петя никуда не ходил по вечерам. Писал письма, читал. Потом познакомился с нашими подругами. Часто ходил и без нас в женское общежитие. И Рита Жиронкина, и Алябьева, и Козловская полюбили Мазина любовью старших сестер. Укоряли его худобой. Стоило ему появиться у них в комнате, тотчас угощали чем-нибудь. Они говорили ему, что Маердсон, я, Латков — отпетые люди, испорченные такими глупыми бабами, как они: до тридцати лет мы не женимся, а потом будем искать молоденьких. Петя не должен брать пример с нас. И как только встретит девушку, которую полюбит, пусть сразу женится. Он же о женитьбе и не помышлял. Праздники, дни рождения мы справляли у подруг. Тогда отмечали день рождения Жиронкиной. Были приглашены две девушки из соседней комнаты. Одна из них, Мая Воронкина, приглянулась Пете. А он понравился ей. Вскоре Мазин влюбился и объявил нам, что хочет жениться на Воронкиной.

Помню, Маердсон сказал тогда:

— Петька, это не мое дело, а ты дуешься на меня. Но я скажу тебе: Воронкина — рабочий вариант. Если бы было время, я бы доказал это.

— Заткнись,— ответил Мазин.

Месяц спустя сыграли комсомольскую свадьбу. Трест подарил молодым квартиру в новом доме. А через неделю после свадьбы молодая поехала в Питер и прислала оттуда мужу коротенькое письмо.

«Петя,— писала она,— получилась ошибка. Мы совершенно разные люди. Не ищи меня. Между нами ничего не будет».

Мазин прибежал с этим письмом к нам.

Мы заставили его переселиться обратно в гостиницу. Маердсон и Латков разобрали ружья, патроны я унес к себе. Едва Петя приходил с работы, мы не оставляли его в одиночестве. Он ложился на койку и подолгу лежал молча. Маердсон любит играть в карты. Он говорил, что Петя слишком рано пошел ва-банк. Как и в игре, надо сначала изучить карты партнеров, а потом действовать, так же и в жизни. Жора говорил, что раньше сорока лет он не женится. К сорока годам он будет главным инженером треста, на худой конец управления, и тогда женится. Наши подруги были возмущены случившимся. Они разыскали какую-то Разумовскую, близко знавшую Воронкину. Стало известно, что Мая, еще учась в институте, была в связи с какой-то дряхлой знаменитостью из артистического мира. Родители ее были против их брака. Она приехала сюда с определенной целью и добилась своего: явилась перед строгими родителями вся в слезах, измученная пьяницей мужем, который до свадьбы был нежен с ней, ласков. А после свадьбы стал пить, бил ее.

Недели две Мазин жил лунатиком. Потом выбрался из омута мрачных мыслей. Подружился с Маердсоном, и часто делают вылазки в конюшню вдвоем.

Когда мы кончили четвертую партию, пришел Рукавцов. Удивленно осмотрел комнату, будто чужую. Серое, в мелких морщинках лицо его сердито. Он пьян.

— Играете? — заявляет он.— Ну, ну...

Проходит к койке, ложится, начинает скрипеть зубами и кого-то ругать. Он работает уже три года, говорят, не ладит с начальством и ходит до сих пор в мастерах.

— Не пойду никуда! — заявляет он вдруг.— Сказал — не пойду, и не пойду. У-ух! Петька, все они гадюки, верно?

— Верно,— Мазин объявляет мне шах ладьей.

Рукавцов мал ростом, некрасив. Он славный малый, но красивым девушкам недостаточно этого. Уже три кедринские красавицы отвергли его. По нашему мнению, он уже старик. На каждой из трех он готов был жениться, но ничего не вышло. В Окнове отыскал какую-то девицу, которую никому не показывает. Частенько ночует у нее.

— Я сказал, что больше не пойду! — категорически заявляет он еще раз сам себе. И вскоре исчезает за дверью.

Мы кончаем пятую партию. Ухожу спать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В городке вдруг наступает затишье: нам не везут ни досок, ни бетона. Все отправляют на промплощадку и на жилые дома. Рабочих стало много, к зиме нужно приготовить жилье. А заводом интересуется Москва. Тут уж не до городка.

От нас забрали всех каменщиков, штукатуров, бригаду Савельева. Хотели забрать Жукова, Федорыч не отдал.

— Забирайте разнорабочих, бетонщиков — всех забирайте, а Жукова не отдам! — кричал Федорыч по телефону Гуркину.— Я эту бригаду создал. Что? Временно? Знаем мы, как это временно.

Прораб повесил трубку.

— Отдать Жукова! Прораб Кибиткин сидит без рабочих! Курам на смех! Пусть сам министр приказывает, а не отдам Жукова. Завтра клюнет управляющего жареный петух, нагонит материалу, а у меня людей нет!

Позвонил сам управляющий, Федорыч и ему сказал, как и Гуркину. Через час курьер приносит приказ по тресту: Федорычу вынесен выговор с предупреждением: если не отошлет плотников на шестой квартал, будет уволен. Федорыч рассвирепел.

— Я не мальчишка! Пусть увольняют, а вот Жукова не отдам!

И он уносится прочь от городка по щебеночной дороге. Он редко теперь бывает здесь. С утра обивает пороги в парткоме, в конторе. Потом бродит от

прораба к прорабу. Там выпросит воз досок, несколько листов железа, машину кирпича. Везде и все его знают, выручают по возможности. Контрабандой он завез даже десять машин бетона.

Я никуда не ухожу с объекта.

— Я побираюсь, а ты сиди и никуда не отлучайся,— говорит прораб,— здесь, как на фронте: хоть подохни, а покуда приказа нет, заройся в землю и жди.

Разнорабочие убирают территорию, тем же занимаются землекопы-бетонщики. «Жуковцы» бродят по городку, выискивают недоделки, исправляют их. Молдаванку я отпустил на полторы недели. Она пришла в прорабскую, мягко села на лавку. Поправила белый платочек. Я редко вижу ее лицо близко. Как можно равнодушнее смотрел ей в глаза.

— В чем дело, Катя?

— Мне бы отпуск...

Я подписал заявление, спросил, куда она собирается ехать.

— Так... по личным делам...

Из разговора женщин я догадываюсь: где-то под Ленинградом у какой-то женщины живет ее ребенок. Почему она его не заберет?

Один жестянщик продолжает стучать в своей мастерской. Он по-прежнему сам достает материал на складе. Мне делать совершенно нечего. Ваньку Герасимова и двух бетонщиков из бригады Грузинова обучаю читать чертежи. Особенно приятно заниматься с Ванькой.

— Вот эти линии — перегородки, которые мы делали? — искренне удивляется он.

— Да. Вот смотри: это капитальная стена. Сколько мы отмеряли от нее? Это расстояние указано здесь...

От меня Ванька бежит к своему бригадиру, рассказывает о том, что узнал.

Побродив по этажам, я заглянул к дяде Саше. Он прекращает работу, садится на подоконник. Он интересуется студенческой жизнью.

— Что ж им там стипендию сразу выдают или разбивают как бы на аванс и получку?

Я говорю.

— На четыре рубля можно в ихних столовых пообедать плотно?

— Вполне.

Заглянет в мастерскую столяр старичок-пенсионер. Теперь я знаю, что он трезвым никогда не бывает. Но и пьяным я его ни разу не видел. Живет он вдвоем со старухой. Ей отдает пенсию, а заработок равномерно пропивает. Покуда я не уйду, столяр рассматривает какую-нибудь жестянку. Едва исчезаю за дверью, слышится его басок — предлагает дяде Саше составить ему компанию.

Другие рабочие, даже «жуковцы», начали пошаливать. Смотришь, подались по кустам в сторону Окнова несколько человек. Вскоре возвращаются, придерживая полу курток, воровски оглядываясь, не вижу ли я. Я делаю вид, что ничего не замечаю.

Как нарочно, погода установилась чудесная. Солнце печет, воздух чист, свежий и теплый. Поднявшись на чердак, подолгу смотрю в слуховое окно. Уже не надо смотреть в генплан, чтобы понять планировку города. Вот это городская площадь. От нее отходят лучи улиц. Самая длинная уходит на север к промплощадке, против которой через дорогу старинный парк с тремя прудами. Разбитая на аллеи, обросшие столетними дубами, липами, елями. Промплощадка — настоящий муравейник людской. На земле, на лесах, на крышах цехов копошатся люди. Там и здесь блещет белым огнем сварка. Снуют машины, ползают тракторы. Тихий, монотонный гул ползет от промплощадки к городку, проходит сквозь него, глохнет где-то в лесу. В голове копошатся предательские мысли по отношению к Федорычу: как только закончим городок, буду проситься на промплощадку.

Здесь все уже кажется мне простым. Здесь нужно только организовывать работу. А там сложные конструкции, да и материал всегда есть.

Вон движется через пустырь длинная фигура в костюме цвета хаки — Маердсон. Он стал часто наведываться ко мне. Спускаюсь вниз. У Жоры на объекте сейчас, как говорится, работа кипит.

— Фух,— утирает он потное лицо,— набегался... Старик сейчас был,— Жора хохочет,— ёшь твою двадцать, пришел на седьмой дом, а там в коридоре горы мусора. Он мне: «Что ты, тудыть твою мать, Гималаи здесь развел? Сдашь дом в этом месяце?» — «Сдам»,— говорю. «Смотри,— гудит,— голову сниму». И уехал... Есть там что-нибудь? — Он кивает на ворох стружек.

Я достаю перцовку. Я завидую ему. Во-первых, он сам ведет объект. Во-вторых, он испытывает сейчас то чувство, которое владело мной уже лишь отчасти — чувство удовлетворения от работы. Пусть сто человек работают на объекте, каждый делает какое-то одно дело. Все эти сотни дел прораб постоянно держит у себя в голове. Находясь даже вдали от объекта, он мысленно видит их. Прикидывает, как, где и что надо предпринять, чтобы завтра дело не приостановилось. Значит, к сотне этих дел прибавляется еще столько же, а может, и больше. И когда, несмотря на неурядицы, все такие дела в какой-то степени увязываются между собой, постепенно сливаются в одно целое — работа подвигается, тут уж чувствуешь свою значимость, нужность. А это самое главное...

А месяц-то подходит к концу...

— Деньги, деньги, черт бы их подрал! — Федорыч стискивает голову ладонями, качает ею, как от зубной боли. Неожиданно вскидывается, смотрит на меня изумленно: — Между моргом и прачечной был холм,— говорит он, поражаясь сам этой идее,— ни экскаватору, ни бульдозеру к нему не подобраться было. Мы его срыли вручную, грунт отвезли тачками на расстояние до пятидесяти метров. Что скажете, Борис Дмитрич?

— Акта нет же?

— Будет. Я свалю на тебя: мол, молод еще, забыл написать. Задним числом состряпаем. Возьмем на этом кубов четыреста... Тихомиров подпишет, я его уломаю...

Решаем запроцентовать бетонные фундаменты ледника, которых еще нет. Так же поступим с полами первого этажа. Ну и, скажем, весь месяц откачивали грунтовые воды из подвала... Еще тысчонок пять наберем по мелочам. А там и Самсонов подкинет деньжат за счет других участков...

Но вдруг вся наша затея рушится. Наш куратор, инженер ОКСа Тихомиров уходит на пенсию. Уезжает под Москву к сыну разводить сад. Это был спокойный человек, напоминающий характером дядю Сашу.

Побродит Тихомиров по объекту, придет в прорабскую, расскажет анекдот, выслушает сам, поговорит с Федорычем о делах треста, завода, о международной политике. Любил вспоминать двадцатые годы, когда ему, молодому специалисту, чуть ли не сам Ленин подписывал бумагу, по которой он получал в банке чемодан денег. Ехал строить мастерские, дома, элеваторы. Тогда доверяли людям, можно было проявить инициативу. Теперь же, говорил он, черт знает что: начальник сидит на начальнике, друг друга погоняют, проверяют. А рядом летят в воздух миллионы, но виновных не найти: все виноваты по чуть-чуть, и на поверку выходит, что все правы оказываются. Бумажная волокита разрослась до ужасающих размеров. Работников бухгалтерии развелось в стране в несколько раз больше, чем учителей и медицинских работников вместе взятых. Бумажная волокита превратилась в бедствие, которого никто не желает замечать, как не замечают воздух.

Наговорившись, Тихомиров делал какие-нибудь замечания по работе. Случалось, Федорыч и скандалил с ним. Но всегда они находили общий язык, все недоразумения кончались миром.

— Ну, ведь надо же, Иван Иваныч,— говорил прораб.— Ну, куда денешься? Я же не себе в карман беру эти деньги. Раз так получается...

— Ну ладно уж, ладно,— кивал Иван Иваныч,— что ж тут поделаешь... Только смотри, чтоб в следующий раз вперед не залазил. Не подпишу.

Приходил «следующий раз», повторялась прежняя история.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И вот вместо Тихомирова появился тщедушный старичок с острым личиком, обтянутым прозрачной младенческой кожей — Иван Карлович Штойф. По национальности немец, по профессии — инженер-строитель-проектировщик. Проектировал, строил общественные здания. Так в Мюнхене построена им «очень практичный и очень красивый гостиница».

В сорок первом году Гитлер послал Штойфа воевать в Россию, чего Штойф не желал, тем более против большевиков, с которыми мечтал поработать на строительстве городов бесклассового общества. При первой возможности он перебежал к нашим. В первый год войны перебежчики были редкостью. А Штойф не только солдат, но и человек с высшим образованием. Его отвезли в Москву, оттуда в Сибирь на строительство крупного комбината. Там он женился. После войны не пожелал возвратиться в Германию, принял наше подданство. Он научился правильно писать по-русски. Но понимать разговорный язык наш, украшенный различными оттенками, словечками, он не в состоянии. Первые же шаги Штойфа на лугу кураторской деятельности ошарашили прорабов. Пошли слухи, что он чертовски упрям. Как бы худо ни шли дела у прораба, он ни копейки не платит вперед. Еще хлеще: совершенно не платит за работу, не доведенную до конца. Положим, кровля выполнена на пятьдесят процентов к концу месяца. Штойф не платит за эти пятьдесят процентов.

— Сделать надо крыша вся,— утверждает он,— тогда получай деньги. За часть крыши деньги платить нельзя.

Говорят, прорабы ходили с жалобой к директору завода, в партком. Но Штойф не меняет своей тактики.

На объект он старается проникнуть лазутчиком, незаметно. Осмотрит все. Что не так, занесет в блокнотик. Проставит дату, время. И старается исчезнуть незаметным. Но это удается ему лишь на первых порах. Внешний вид, манера поведения моментально создают ему известность среди рабочих.

— Штойф, Штойф идет! — разносится по городку.

Все с улыбкой наблюдают за крохотным человечком в светлом плаще, в светлой шляпе, семенящим по дороге с чемоданчиком в руках. Там, где грязно, он ходит в сапожках. Достигнув сухого места, Штойф извлекает из чемоданчика туфли. Ни на кого не обращая внимания, переобувается. Исчезает в помещении.

В первом же сражении со Штойфом Федорыч потерпел поражение.

Часа за полтора до окончания работы в прорабскую влетел Ванька Герасимов, расширив до предела свои зеленые глаза, выпалил:

— Иван Федорыч, Штойф на горизонте!

Прораб посмотрел в окошко, выпил стакан перцовки, углубился в изучение журнала работ. Дверь открывается, немец скребет подметками по порогу, здоровается с полупоклоном и присаживается, сняв шляпу.

— Хорошая погодка установилась,— замечает Федорыч. Откидывается к стене, улыбаясь, смотрит на куратора.

— Да, погодка отличная...

Штойф приглаживает ладонью короткие седые волосы. Озирается голубыми невинными глазками. Его хрупкие пальчики, обтянутые прозрачной кожицей, достают из кармана табакерку. Понюхав, чихнув, он достает платок.

— Да-а, погодка отличная. Я пришел просит у вас чертеж ледника. В нашем техническом отделе мне не повезло его найти. Может быть, он сумел пропасть. Я хочет взять у вас один экземпляр сроком на сутки и после суток вернуть вам. Я даю вам расписку.

Расписка легла на стол.

— Зачем расписку?! Какая может быть расписка? Борис Дмитрич, где чертежи ледника?..

— Вот, вот они. Пожалуйста. Вам все?

— Мне один.

Куратор выбирает один лист, кладет его в чемоданчик, хочет подняться, но Федорыч задерживает.

— Может, пройдемся по объекту, Иван Карлович?

— Я уже был на днях. Я все знаю. После завтра я буду к вам в девять часов утром.

— Посмотрели, тем и лучше. У меня тут процентовочка заготовлена... Это по моргу, это по прачечной... Деньжат совсем мало... Н-да... замучился с работой: того нет, этого нет. Рабочие простаивают. План давай, зарплату плати...

Штойф посмотрел процентовки, заглянул в блокнотик.

— Подписать не могу.

— Почему же?

— Обо всем разговора не может и быть. Вот и кровлю я не подпишу: на здании крыша имеет пятнадцать листа расколоты.

В крыше мы даже не сомневались, считали это дело чистым. Федорыч поражен, но справляется с собой.

— Это пустяки. Завезем шифер и мигом заменим. Работы на пять минут.

— Нет, нет,— качает головой Штойф.

— Ну бог с вами, считайте, что часть крыши не сделана. Давайте уменьшим цифру. Сколько снимаем?

— И полы не закончены...

Штойф снова понюхал табак.

— И не в цифрах дело... Когда я поступал на работу, директор завода Василий Абрамович Заикин сказал мне: «Товарищ Штойф, вы должны быть знать одна истина: все строители — хорошие люди. Но все они честные жулики. Никогда не верьте им по словам и вперед не платить ни копейка, а то они вам на шею съедят». Он правильно сказал. Но что такой честный жулик, как жулик может быть у вас честным, я не понял. Но по словам я никогда не платил. Должен быть строгий порядок.

И такого монолога прораб не ожидал.

— Все-таки подписать надо, Иван Карлович...

— Не могу.

Федорыча взорвало.

— Да вы понимаете, мне рабочим платить надо?! Материал списать надо?

— Все надо... Штойф получает от государства зарплату, и он должен поступать правильно надо.

— Да, голова два уха, все мы поступали правильно, но если безысходное положение?

— Крыша с дыркой — это неправильно. Сегодня ночью побежит дождь. Потолок капает, штукатурка делает падать. А Штойф уплатил деньги и за штукатурка и за крыша.

До Федорыча дошло, что куратор даже не колеблется: заплатить или нет. И он взвился.

— Вот,— закричал он, распахивая дверь, указывая рукой на главное здание,— здесь работают десятки людей, у них семьи, дети. Маленькие дети! Их надо кормить, одевать!..

Прораб кричал, что городок этот его погибель. Что он бросит все к чертовой матери, уйдет на пенсию... Картина была внушительная.

Театральные жесты Федорыча, выкрики должны были положить Штойфа на лопатки. Но тот даже бровью не повел.

— А ты, Штойф, не немец,— тряс Федорыч щеками,— ты черт знает кто такой! У меня работали пленные немцы — люди как люди. Откуда ты выискался? Зачем ты в России остался? Порядки новые заводить?

— Мы на производстве. Личность трогать не надо. Мы не дети.

— О-о! Зарезал! Без ножа зарезал!

— Время у вас еще есть.

Штойф поднялся. Через минуту уже спешит по дороге прочь от городка. С полчаса Федорыч мечется по прорабской, плюется проклятиями в адрес немцев. Допивает перцовку.

— Ничего, ничего... Погоди, брат, погоди... Герой выискался... Спорю с кем угодно: еще месяца два, и его здесь не будет. Удачи ему не видать. Да! Не видать. Куратором он не будет. На что угодно спорю.

— Давай со мной?

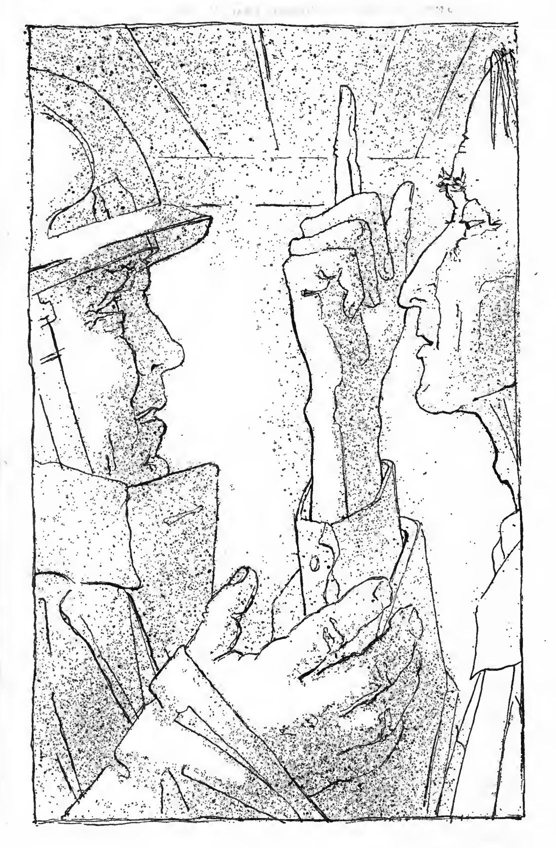


Рис. А. Пахомова

— На бутылку.

И он протягивает свою толстую, короткую руку...

С деньгами решается благополучно. Вечером отправляемся к Самсонову. Узнаем, что по промплощадке большое перевыполнение.

Самсонов выделяет нам достаточный фонд зарплаты. Весь следующий день возимся с нарядами: мы выдумываем возможные объекты работ. Мы туфтим, мы делаем трансформацию.

— Только ажур, ажур должен быть,— урчит Федорыч,— чтоб ни одна банковская крыса не подкопалась...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Но и затишью приходит конец. Несколько раз появляется нервная, худощавая особа в юбке и с мужским лицом. В первый приход набрасывается на меня и Федорыча: старая больница мала. Начали поступать роженицы, травмированные. Койки даже ставят в коридоре. Осенью обещали строители сдать городок, а у вас конца и не видно!

Мы с Федорычем обрушились на наше начальство. Советовали написать в обком, а еще лучше — прямо в Москву.

— Придется,— отчеканила главврач,— я напишу куда надо.

И, должно быть, написала. Женщины, да еще главврачи, умеют писать жалобы. В одно утро потянулись к нам машины с кирпичом, подводы с досками. Пришли две бригады штукатуров, каменщики, две бригады плотников. Начальник нашего СУ Гуркин редко наведывался. По натуре он снабженец. О своем появлении оповещает руганью.

— Прорабы, молодые инженеры! — несется он по территории, припадая при каждом шаге.— Опять кирпич не сложен? Что? Не отговариваться! Все с вас высчитаю, я вас раздену!

На рабочих нельзя кричать, тот может пойти пожаловаться. Он отыгрывается на нас. Федорыч не обращает на ругань Гуркина никакого внимания. Ругань, крик — это метода руководства начальника. После его ругани можно пойти к нему с любым вопросом, и он, если может, все для тебя сделает. Я все это знаю, но когда он кричит, брызжет слюной, в голове одна мысль: подойти и дать крепкую затрещину. Интересно: что бы он сделал после этого? Теперь приехал на машине.

— Затянули, затянули городок. Надо кончать...

Он чуть выше Федорыча, немного плотнее. Затянут в кожаный плащ, голенища сапог на икрах разрезаны. Лицом он не похож на прораба совершенно. Но в то же время у них есть что-то общее, что-то такое, что выразить словами невозможно.

Позвонил управляющий:

— Все, что нужно, вам дадут. Будут задерживать, звоните прямо мне.

Начался аврал, штурм. Под шумок Федорыч завозит лишние гвозди, железо, ящики стекла. Привез три бочки битума, совершенно не нужного нам.

— Все нужно, все. Да. Вот работка, это работка,— оглядывается он, уперев руки в бока,— черт возьми!.. Ты только, Борис, теперь поглядывай, проверяй... Как бы чего не случилось. В такой суматохе всякое может быть.

Он имеет в виду «несчастный случай». Но как его предугадать, предупредить? Ведь потому он и «случай», и «несчастный», что его никто не ждет и не знает, когда, где и как произойдет. До сих пор судьба миловала городок, изредка сердилась на промплощадку, но вот посетила и нас. С южной стороны фасад главного здания отделали. Нужно разобрать пятиярусные леса, перенести на другую сторону, там установить. Поручаем это Савельеву. Он прячет наряд в карман, уходит. Я видел, как он собрал бригаду, что-то толковал с товарищами.

После работы вся бригада остается, покуда светло, снимают с лесов закрепы. Оставляют несколько на всякий случай. В полночь являются на объект, вооруженные веревками. Привязывают их к стойкам верхнего яруса, постепенно начинают раскачивать. Леса кряхтят, крепятся и вдруг с шумом

рушатся. В темноте плотники сходятся, обсуждают: сейчас перенести леса или сделать это, когда хоть немного посветлеет. Но что такое: кто-то стонет. Это плотник Старостин. Он лежит в грязи, едва шевелит губами; рядом с ним обломок стойки. Приятели уносят его в общежитие. Руки, ноги у Старостина целы, ран не видно. Может, все обойдется и никто ничего не узнает? Достают водки, кипятят чай. К утру Старостин побледнел, вытянулся. Вызвали «скорую помощь», Старостина увезли в больницу.

В начале восьмого Федорыч приходит на объект, видит, что леса разобраны, перенесены. Плотники молча устанавливают стойки первого яруса. «Решили заработать в этом месяце»,— думает прораб. А в девять часов приехала комиссия во главе с главным инженером треста Рубцовым.

— Иван Федорыч, пройдемте в прорабскую...

— Расскажите, как все произошло. Говорите.

Немая сцена.

— В восемь ноль-ноль Старостин скончался. Вы должны откровенно рассказать. Что произошло вчера?..

И через минуту:

— Картавин! Эй, кто там? Девушка, позовите мастера.

— Борис Дмитрич! Борис Дмитри-ич! Вас в прора-а-абскую зовут!

Из окна четвертого этажа:

— Кто?

— Там приехали! Рубцов там!..

Мы с Федорычем смотрим друг на друга. Я иду за Савельевым. Тот долго молчит, что-то бормочет.

— А может, это неправда? Может, вы нарочно? — наконец не выдерживает он. И тут же все рассказывает...

Проходит всего лишь день...

Я устанавливаю нивелир. Нужно сделать разбивку ограды городка. Савельев уже не бригадир. С него взяли подписку о невыезде из Кедринска. Он сидит рядом со мной на корточках, складывает в ведро колышки.

— Смотри-ка, Борис,— говорит он.

От морга, от прачечной бегут люди за главный корпус. Сердце вздрагивает, и я бегу. Ноги скользят. Вон Федорыч бежит к прорабской. Должно быть, звонить. Сталкиваюсь с разнорабочей Уляновой, волосы ее растрепаны.

— Позвонить, позвонить надо! — кричит она.

— Что такое?

— Убило!

— Кого?

— Шуракину! Звонить надо!

Сворачиваю за угол, расталкиваю толпу.

Девушка лежит навзничь.

— Разойдитесь! Дайте воздуху!

Голубые глаза девушки раскрыты. В них небо, даже видны облака. В них мое лицо. То ли от волнения, то ли пальцы мои грубы, но я не чувствую ни пульса, ни стука сердца.

— Дайте дорогу!

Санитары кладут носилки. Молоденький врач, совсем мальчишка, наклоняется над Шуракиной.

— Отойдите все. Отойдите!

Это уже кто-то из милиции. Несколько раз щелкает фотоаппарат. Под головой Шуракиной кровь. В волосах маленький болт с гайкой.

— На носилки.

— Что с ней? Жива?.. Я мастер...

...Люди не работают. Изредка кто-нибудь подходит к месту, где лежала Шуракина. Стоит некоторое время. Отходит. Возле прорабской толпа женщин.

— ...Я гляжу, а она вот так постояла, постояла да разом на спину...

— У Старостина никого нет, он сирота был. Это уж его одного горе. А у ней-то матушка, отец где-то в Воронежской области...

— Поехала девка денег заработать...

— Боже ты мой, девоньки, телеграмму-то дадут... Мать-то получит...

— Дадут обязательно.

Пожилая женщина убирает под платок седые волосы. Быстро крестится.

— Замуж собиралась...

— Едут!

Комиссия на двух машинах. В комиссии двое из области, вызванные шифрованной телеграммой по делу Старостина. Один пожилой, сутулый. То и дело кашляет. Второй молод, рыж. Комиссия разделяется на две партии. Опрашивают людей в разных местах.

— Мастер Картавин!

Вначале меня опрашивают приезжие.

Пожилой спокойно задает вопросы, что-то записывает.

— Можете идти. Позовите бригадира Шуракиной.

Рыжий задерживает меня:

— Вы не должны ничего скрывать. Мы все узнаем. Тогда хуже будет.

Он даже грозит пальцем. Что ему сказать? Губы мои что-то шепчут. Я иду за поликлинику, спускаюсь к Норке. За речкой кусты, потом лес. Тишина. Да, тишина, только она. Что думать, о чем говорить? Ни о чем. Смерть... Пусть будет тихо... Уже в потемках я подошел к Кедринску со стороны парка. Ночи сейчас светлые, но в парке темно. Вершины деревьев закрывают небо, оно видно лишь над озером. Цокают соловьи. Как они заливаются! От ходьбы я вспотел. В кустах жасмина и сирени лавочка. Я давно знаю зту лавочку. Ближние соловьи умолкли, но я не шевелюсь, и они опять цокают. «Интересные птахи... Я никогда не видел поющего соловья... Наверное, родным ее уже послали телеграмму... Помню, бабушка говорила, что если кто увидит поющего соловья и задумает в это время что-либо, то задуманное исполнится...» Поздно вечером я выходил в сад... Сколько мне было лет тогда? Семь, восемь? Да, в школу я уже ходил. Я крался по дорожке, то и дело оглядывался на освещенные окна. Страшно было. Я трусливым не был, но почему-то ночного сада боялся. Почему? У соседей наших, что ли, весной обнаружили в саду труп какой-то старушки. И вот всегда, очутившись один в саду, почему-то вспоминал о ней. Но я шел к тому заветному кусту, в котором пел соловей. Не дыша замирал у куста, а стоило раздвинуть ветки, певец умолкал. Я так и не видел поющего соловья. Но ух, как я бежал обратно к дому! Казалось, кто-то гонится за мной, вот-вот схватит. Я влетал в освещенную комнату пулей, и все страхи исчезали... Но откуда взялся зтот болт? Болт... Ладно. Если это случай, то с каждым могло так случиться. Я бы тоже сейчас лежал в морге. Вот и с Николаем случилось... Многие ходили там по ярусу. Подсобницы даже кирпич носили. А он облокотился на доску в том месте, где был сучок. Чудак зтот рыжий. Впрочем, будь я на его месте, как бы вел себя? Душно что-то стало и совсем темно. Наверное, будет дождь. Искупаться?..

Я прошел к пруду, быстро сбросил одежду, нырнул. Тотчас выбрался на берег, ошпаренный холодной водой. У самого выхода из парка передо мной выросла высокая фигура.

— Разрешите прикурить.

Подаю спички и чувствую, что сзади кто-то стоит. В памяти мелькают двое проектировщиков, командированных сюда из Ленинграда. Их ночью раздели в парке догола, даже трусы сняли. Фигура чиркает спичкой, ладони держит отражателем. Мое лицо освещено, а я вижу только кепку, сдвинутую на глаза, длинный овал лица.

— Спасибо.

Фигура проходит мимо.

— Не нужно,— доносится шепот,— зто мастер с больничного городка...

В гостиницу прихожу в полночь. Околотов почему-то не спит. Следит, как я раздеваюсь. Он чем-то взволнован, хочет о чем-то спросить.

— Борис Дмитрич... мм... вы где были?

— Гулял...

Он недоверчиво смотрит на меня.

— Мм... А не в милиции вы были?

— Нет.

— Вас допрашивали сегодня?

Его интересует, как со мной разговаривали, не грозили ли мне чем-нибудь? Выслушивает, как было дело, отворачивается к стене.

Ночью я, вздрогнув всем телом, просыпаюсь. За окном грохот. Сверкает молния. В свете ее седые волосы бухгалтера кажутся голубоватыми. Впалые щеки восковыми, как у мертвеца. Я давно уже не могу спать во время грозы. С каким-то детским страхом ожидаю очередного удара грома, блеска молнии.

Лежать надоедает, хочется покурить. Одевшись, выхожу в полумрак коридора. В проходной горит яркая лампочка. Дежурит пожилая, полная девушка Галя.

— Почему не спите, Картавин?

— Голова что-то болит.

— У нас есть аптечка.

— Спасибо, Галя. Уже проходит.

Электроплитки раскалены. От них душно. Выхожу на крыльцо под гудящий жестяной навес. Вокруг крыльца вода, в ней плавает расплывчатая дрожащая звезда — отражение фонаря башенного крана. Днем, когда вокруг тебя люди и ты занят, почти не думаешь о бескрайнем лесном пространстве, окружающем стройку. Теперь же кажется, что лес близко, в пяти шагах. Особенно остро чувствуется его бескрайность, дикость, холод его озер и болот. А стройка — маленький пятачок в этом необъятном море. Кто-то пробежал в стороне, за ним второй.

— Постой, подожди! — хрипит мужской голос.

Откуда-то из-за гостиницы, видимо, от седьмого квартала, где стоит ряд недостроенных домов, напоминающих ночью развалины военных лет, доносится истошный женский вопль:

— А-а-а-а!

Грабят? Насилуют? Муж колотит жену?

Залились милицейские свистки.

Шлеп-шлеп — кто-то топчется в луже у стены.

— По три-и но-о-очи мы не спа-а-а-ли!

Пьяный голос обрывается, фигура падает в лужу. Покуда поднимается, осыпает темноту скверной руганью. Проплывает мимо.

— Пьем мы водку, пьем мы ро-о-ом!..

Гроза утихла. Потянуло ветерком. Зябко. Ухожу в комнату. Сон моментально окутывает сознание. Но сплю я неспокойно — одолевают сновидения. Прежде мое сознание не принимало участия в снах. Просыпался утром и никак не мог вспомнить, что именно снилось. Теперь сознание подключается в работу, и получается так, будто я смотрю какой-то бессвязный фильм, в котором нередко участвую сам. И утром помню все до мельчайших деталей. Вот вижу себя сидящим в осоке на берегу реки. Ночь. На фоне светлого горизонта высокие, стройные силуэты сосен. Под ними вспыхивают огоньки, и доносятся выстрелы. «Откуда это?» — думаю я. Это приснилось из далекого детства. Городок, где я жил, заняли немцы. Наших людей расстреливали по ночам за баней, в соснах... Но вот уже день, и печет солнце. На берегу стоит голая Молдаванка, она смеется, а я подхожу, подхожу к ней, целую ее груди. Но она вдруг вырывается и кричит: «Мастер, лучше вон туда посмотри!» Оглядываюсь и вижу плывущую по реке Шуракину. От головы ее расходятся кровавые круги. А на груди у нее лежит маленький болтик... А вот уже зима, река скована льдом. Я пришел с ведром набрать воды в проруби. На льду пятна крови, следы босых ног, кованых сапог. Здесь ночью немцы расстреливали людей, трупы спускали под лед. Я ухожу по берегу выше по течению. Пробиваю новую прорубь. Хочу набрать воды, но ведро не погружается. Опускаю коромысло в воду, за крючок его что-то зацепилось. Я тащу и вижу концы веревки. И вдруг вижу темные пальцы связанных человеческих рук. Я бросаю коромысло и убегаю...

Весна. Наши отбили городок. За мостом, в маленьком заливчике, люди обнаружили водяное кладбище трупов. Темно-синие, вздувшиеся, они покрывают весь залив. Со дна продолжают всплывать новые трупы. Свободного места на поверхности нет, они толкаются. И такое впечатление, будто некоторые из них сами шевелятся...

Я вижу это, чувствую то, что и тогда в детстве. Мне жутко. «Да это же сон!» — мелькает спасительная мысль. С трудом открываю глаза. Светло. Околотов завтракает...

Старостина и Шуракину хоронят в один день. Трест нанял оркестр из музыкантов-любителей. Первым за машиной с гробами идет высокий мужик в полушубке и в валенках — отец Шуракиной. Он думал, что здесь настоящий север, приехал в зимней одежде. За ним Федорыч. Секретарь парткома треста Новожилов. Рабочие городка. Я ни разу в жизни не участвовал в похоронной процессии. Я не могу даже смотреть на нее. А когда играет похоронная музыка, стараюсь не слушать ее. Почему так? Не знаю.

Со всех сторон к процессии сбегаются женщины, дети. В их глазах я вижу что-то от дикарей. Когда заиграли эти музыканты с пропитыми физиономиями, у меня стискиваются зубы. Глухой стон я подавляю в груди. На некоторое время глаза мои закрываются. Делаю несколько шагов в сторону, смешиваюсь с толпой. Через минуту уже за стройкой. Бреду по лесу...

Вечером возвращаюсь обратно. На берегу Норки наталкиваюсь на музыкантов. Они уже пьяны. Один, толстый, усатый и с громадным брюхом, дудит на трубе. Двое подрались. Их разнимают, по очереди бросают в воду прямо в одежде. Хохот.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Жизнь равнодушна к ушедшим из нее. Жизнь в городке пошла своим чередом. Несколько раз я побывал у следователя Моргунова. Теперь установлено, что болт принадлежал сантехникам. Упал он с пятого этажа. Он не был брошен кем-то, а его просто кто-то смахнул с подоконника. Кто мог это сделать? Сантехники уже не работали там. Наших людей там тоже не было. Кто-то проходил, смахнул болт. Но кто? Это осталось тайной. Федорыч как-то разом сдал. Постарел, меньше шумит. Если прежде любил пофилософствовать, поспорить, то теперь молча выслушает собеседника и кивает:

— Да, да, бывает...

На мне лежит уже не только техническая сторона дела, но и организационные вопросы, часто решаю их без прораба.

— Наверное, уйду скоро, Борис, останешься ты здесь... Да... Закончишь городок сам...

— Брось ты, Федорыч!..

— Без меня, без меня кончишь...

И вдруг приходит день, когда нам с Федорычем приходится расстаться. И уж не я, а он остается в городке.

В начале девятого Гуркин вызывает меня по телефону в контору.

— Да поскорей, поскорей...

Кладу трубку, несу новость прорабу. Гуркин никогда по утрам не вызывает к себе.

— Вчера ты нигде, ничего? Не прославился вечерком?

— Нет.

— Поскорей возвращайся...

— Ну садись, сын,— начальник подал мне руку, улыбнулся, и я насторожился.

Год назад наш трест обязали построить колхозу «Восход» коровник и свинарник. Читаю ли я газеты? Да, читаю. Читал выступление Хрущева? Читал. Ну так вот. Строительство коровника и свинарника затянулось. Руководит там прораб Окунев, он, так сказать, маленько свихнулся в дисциплине, частенько закладывает. Вчера на партийном бюро постановили послать меня туда. Работы там осталось мало. К осени я разделаюсь.

— Вернешься, назначу тебя прорабом. Отдам тебе мясокомбинат — работы на пятнадцать миллионов. Один будешь руководить...

Если б хоть мастерские какие-нибудь, а то коровник! Да я уже слышал: «Восход» километрах в тридцати от Кедринска. Дорога туда отвратительная, с материалом там туго, работа запущена.

— Я не поеду туда.
— Почему?
— Почему я должен?
— Ты холост.
— Маердсон, Латков...
— У них отдельные объекты. Ты комсомолец? — Гуркин возвысил голос.
— А комсомольская организация есть в нашем СУ?
— Гм... Должна быть. Есть.

Я рассмеялся. Что за народ! В нашем СУ организации нет, есть в тресте. Я недели две искал секретаря, чтобы уплатить взносы. В повседневной жизни о комсомольской организации никто не думает. А вот когда что-то надо от человека, тогда вспоминают.

— Я не пойду в колхоз.
— Разговаривать некогда! — Гуркин встал.— Приказ уже есть. Все.

В дверях мелькают разрезанные голенища начальника. Под окном зафыркала машина, он укатил. Я закуриваю. Стучит машинка машинистки Маши. Под окном прополз бульдозер. Мясокомбинат — это вещь. Пятнадцать миллионов — это солидно. Ладно. Я поднялся. Начальник ПТО Шуст у себя. Маленький, юркий, напоминающий какую-то птичку, он сидит за огромным столом, что-то подсчитывает. Как ни странно, но финансовыми делами СУ вершит Шуст. Если прораб не справится с планом, Шуст, сидя за столом, вытянет его.

— А, это ты — садись, Борис. Сколько полтора процента от миллиона? — Шуст смотрит на меня. Что-то чиркает на бумаге и выныривает из мира цифр.
— Чертежи там, в деревне, у Окунева. Вот сметы. Познакомься.
— Много съели денег?
— Нет! Что ты! Не бойся! Вперед не забирались. Примешь дела, составь процентовку по молокосливной и пришли к десятому. Обязательно...

Листаю смету. Стоимость коровника четыреста шестьдесят тысяч. Свинарника — двести тысяч.

— Ну все-таки, Юрий Абрамович, сколько забрали денег?
— Совсем мало... Мало, мало...

Отправляюсь в городок.

— Да-а,— говорит прораб, выслушав меня,— вот так оно и кособочится всю жизнь. Думаешь так, а оно выходит этак. Замотаюсь я тут один. Может, пришлют кого...

И улыбается хитро:

— А для тебя это самый раз. Заметил я: норовишь ты все по-культурному: пожалуйста, извините. Для всех хорошим хочешь быть. За чужой спиной так можно. А теперь сам будешь...

До конца рабочего дня заполняю журнал работ, закрываю наряды. Приношу из окновского магазина перцовки, закуску. Сидим за столом с Федорычем, он объясняет, как лучше добраться до «Восхода»...

Моя командировка — солидный предлог для основательной выпивки. Маердсон и Рукавцов быстренько прикидывают смету, я даю деньги. Переодеваемся. Мазин уходит предупредить подруг. Жора был в деревне, строил там овощехранилище.

— Какая там база, Жора?

Он хватается за живот и падает на койку.

— Ба... база! — стонет он.— База! Узнаешь там базу!..

На улице подсохло. Мы все в туфлях. После сапог такое ощущение, будто ты в тапочках. Вчера была получка, возле гастронома длинная очередь, женщины несут дешевую конскую колбасу. Пивные ларьки облеплены рабочими. Там и тут на травке примостились компании, пьют водку. В такой день нет нужды прятаться в подъездах, на чердаках, в подвалах. Ханжество наших властей бесподобно: знают, что винные прилавки трещат от очередей, а устроить какое-нибудь заведение, где после работы можно поболтать и выпить — это значит способствовать пьянству. В магазине мы нагружаемся.

Окно в комнате подруг открыто. Жиронкина приветствует нас рукой. У девушек как всегда чистота в комнате. Даже как-то неловко.

— С чем и поздравляю,— большой рот Козловской становится еще больше от улыбки. Под сросшимися бровями щурятся серые пытливые глаза.— Дай-ка папироску.

Она целует меня.

— Рита, не ревнуй. Мальчики, раздвиньте стол!..

Поздно вечером уходим компанией в парк.

Утром следующего дня шагаю по тропинке вдоль пыльной дороги. То и дело проносятся по обе стороны самосвалы — возят песок, известь. В пяти километрах от стройки большая деревня Сорокино. В чайной завтракаю. Возле буфетной стойки двое: директор известкового заводика Тверской, рослый мужик с длинным сизо-кровавым носом, который директор возил в Ленинград к профессору, чтобы избавиться от красноты. И заготовитель корья, ягод, грибов Микульский. Оба пьют из бутылок вино.

— Я им говорю: дадите квартиру — поеду, а так нет,— Тверской кивает мне.

За деревней луг, печи известкового заводика. Дорога врезается в лес. Шум стройки все тише, тише. Вот уж не слышно и моторов самосвалов. Где-то в стороне бренчит колокольчиками стадо. Далеко-далеко хлопнул ружейный выстрел. Развилка. Лавочка. И возле нее стоит, опершись на палку, привидением — старик.

— По какой дороге в «Восход» идти, дедушка?

— Сюды. Будить Ходеево, Мошкино, Тутошино. Потом озеро, а за ним Вязевка. Там-то и правление «Восхода».

В правлении застаю бухгалтера Иваныча, тоскующего над ведомостью.

Председателя колхоза Баранова в деревне нет, он уехал в Новогорск по делам. В самой Вязевке ничего не строится. Ставят коровник в Заветах — это еще нужно пройти по берегу озера километров пять. Свинарник — в Клинцах. Чтобы попасть в Клинцы, нужно пройти обратно километра четыре. И у первой же повертки вправо свернуть.

— Окунев где может быть сейчас?

— Кто ж его знает... Утром проходил в сторону Клинцов, может, и там он...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Штук тридцать избушек, крытых дранкой, расположенных в два ряда. За избами овраг, в нем ручей. За оврагом на поляне стоит шлакоблочная коробка с тамбурами, без крыши и потолка. В одном тамбуре свалены бумажные мешки с цементом. Я потрогал верхние — от дождей они стали тверды, как камень. Ни одной живой души. Вот кучка свежего песка. Следы. Я присел и закурил. Слышится шум мотора. Вскоре из лесу, подминая кусты, выползает трактор с прицепленными железными санями. На санях песок и шесть человек молодых парней. В Кедринске они работали землекопами-бетонщиками. Вчера Гуркин вызвал их в контору, отправил сюда.

— Сколько вас? — говорю я.

— Десять человек. Одиннадцатый — бригадир.

— Где он?

— Войченко куда-то отлучился. Остальные остались в карьере.

— Окунева не видели?

— Нет.— И кто-то смеется.

— У нас никакого инструмента нет. Гуркин сказал, что здесь все есть, а здесь ничего нет. Лопаты мы у хозяек выпросили.

— Так...

— Много песку надо?

— Много. Возите. Далеко карьер?

— Километра три отсюда.

Ребята сгрузили песок, уехали. Из лесу по тропинке вышли три девушки. Окружают меня.

— Вы начальник новый будете?

— Я.

— Переведите нас сюда на свинарник...

Девчата рассказывают, что они клинцовские, Окунев их принял временно на работу, послал в Заветы, где они готовили раствор штукатурам. Теперь там работа кончилась, они хотят работать здесь.

— А Ефим Андреич нас не переводит.

— Почему же?

Девчата начинают в один голос говорить, но вдруг вскрикивают и убегают к деревне: на другой стороне поляны появился маленький человечек в комбинезоне, в фуражке и в очках.

— А-а, не слушаться! Вот я вас! Вон отсюда все! — визжит он.

Натолкнувшись на меня, человечек протягивает руку.

— Честь имею представиться — прораб Окунев. Собственной персоной!

Он садится на траву. Машет перед собой жилистым кулаком.

— Во! Еще есть сила! А это что? — он рвет комбинезон, под которым тельняшка.

— Инженеры молодые! А Сингапур? Индийский океан? А? Я, брат, много повидал! Окунь — рыба колючая. Ха-ха! Один дурак обварился смолой, Окунева к следователю. А он, Окунев, то есть я, бумажку раз, вторую два: «Был болен и на объекте не присутствовал». Каково? Я бумажками обложусь, возьми, попробуй! Ха-ха! Впрочем, пойдем в избу. Сейчас Матреша обедать даст. Я не жрал пятьдесят лет и три года...

По дороге к деревне он толкует:

— А девок этих гони. Они, курвы, хитрые, непослушные. Всех баб гони к чертовой матери!

Вошли в избу. Окунев потребовал яичницу. Прилег на лавку. И вскоре спит, поджав ноги, подложив под голову кулаки.

— Слава тебе господи,— говорит хозяйка,— угомонился. Когда тверезый, человек добрый. А выпьет — бросается на всех...

Поселился я в избе Татьяны Сергеевны Родионовой, одинокой женщины, живущей со своим хозяйством: корова, поросенок, телка, куры и огород. С той откровенностью, какую можно встретить только в деревне, за час она рассказывает о себе всю подноготную. На деревне ее зовут Гришчихой, потому что мужа звали Григорием. Умер муж во время войны «от живота». Призвали его служить. Не отслужил он и месяца, как был отпущен домой. Привезла она его со станции на санях. Два месяца он пролежал в кровати, ничего не ел, а потом помер. Меня поражает и то, как умер муж, и та простота, с которой рассказывает Сергеевна. Над кроватью мужа висела жердь, на ней — сушили белье. Вернулась однажды Сергеевна из Вязевки, куда ходила за солью. Вошла в избу и упала на колени: живой скелет висел на жердине, обвив ее руками и ногами.

— Так мне легче, Татьянушка, не пугайся, родная. Так не болит нутро,— бормотал муж.

И умер висящим на жердине.

— Услышала я — грохнуло что-то, кинулась от печки, а он вот так-то лежит: голова на кровати, ноги на земле...

Дочь есть у Сергеевны, звать Галиной. Окончила Галина зоотехническую школу под Ленинградом, вышла там замуж. Живет у мужа где-то за «Тифином».

— Говорила все мне: «Не пойду за деревенского, не пойду за деревенского!» А за такого и вышла...

В избе три комнаты. В первой комнате печь, стол, залавок, бочка для помоев. Над бочкой висит на цепочке глиняный горшок с носиком — рукомойник. Во второй комнате стол, в углу большая икона с лампадкой. Кровать, на которой я буду спать. В третьей комнатушке маленькая печка, она топится зимой на ночь. Кровать Сергеевны.

— А сколько вам лет, Сергеевна?

— Мне-то? Да сколько же... Седьмой десяток поди пошел. После нонешнего успенья и пойдет...

В этот вечер поговорить с Окуневым не удается. Очнувшись, он выпил ковш браги, ошалел окончательно. Представилось ему, будто он не в избе, а в

палатке. И в расположение части прибыл командир полка. С остервенелым лицом Окунев выбежал на улицу и заорал на всю деревню:

— Рота-а-а! Стройся-я!

Белея тельняшкой, пробежал вдоль воображаемого фронта.

— Рота моя-я! Слушай мою команду! Смиррр-но! Налево равв-айсь!

И, прижав руку к бедру, побежал, вдруг вытянулся, замер и отрапортовал.

Утром я пью молоко, он является. Садится на лавку. Через стекла очков смотрят на меня увеличенные голубые глазки.

— Вот я акт принес о передаче...

Акт написан красивым почерком.

— Молока хотите?

— Спасибо. Я позавтракал... Я был пьян вчера... Из начальства никто не приезжал?

— Нет.

Он оживился.

— Черт, перехватил вчера...

В акте указаны несколько тонн цемента, много кирпича, шифер, кровельное железо. Побывали у свинарника, у коровника. В наличии нет и половины того, что есть в акте.

— Где ж это все? — Я провожу пальцем в акте.

— Часть в дело пошла. Часть растащили. Знаете — воруют. Народ здесь,— он отмахнулся обеими руками,— жулики!

— Надо ж было актировать.

— Знаете, для акта свидетели нужны. Допустим, я бы нашел их, да не успел... А теперь, знаете, когда человек уходит, ему не списывают... Меня вот загнали сюда, а в Кедринске семья... Трое детишек.

Он жалок. Хоть бы здоровым, толстым был, с распухшей от водки физиономией, я бы обозлился тогда. Но он сух, как сучок. А личико чуть ли не с мой кулак. Вспоминаю, что видел его как-то в Кедринске в компании трех карапузиков. Дети...

— Ну, ладно... Я беру на себя треть. Остальное, как хотите, так и списывайте...

Под вечер он ушел в Кедринск. Нахожу избу, где живет тракторист, и с четырьмя рабочими едем в Кедринск за инструментом. Вечер я провел у Федорыча. От него узнал, что никакое бюро не решало послать меня в колхоз. Просто Гуркина вызвали в райком, потребовали ответа: почему так медленно подвигается стройка в деревне? Преследуя ту же цель, ради которой лгали и каменщик Борцов, и Ванька Герасимов — в данный момент выкрутиться,— Гуркин сказал, что да, до сих пор дело шло худо. Но теперь пошло лучше. И он добавил туда людей и послал молодого инженера. Вернувшись в Кедринск, Гуркин все это и проделал.

Утром я сталкиваюсь с Гуркиным у конторы.

— Ты почему не поехал? — набрасывается он.

Чувствую, что краснею. Глаза мои уставились в какую-то точку на физиономии Гуркина. Сейчас размахнусь и влеплю затрещину. Но он делает шаг назад.

— Черт знает что! Зайди ко мне в кабинет...

Нагружаем с рабочими инструменты на сани и уезжаем в деревню.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Теперь понимаю Федорыча, когда он говорит, что не выносит тишины. Начинается сенокос, деревенские покидают избы чуть свет, уезжают на дальние лесные поляны. В семь часов я завтракаю. В избе тихо до звона в ушах. Выйду на крыльцо — тишина. Безоблачный голубой купол неба. Два коршуна кружат невысоко. За избами бархатная зелень огородов, за ними лес. Ручей на другом конце деревни, а слышно, как он журчит. Направляюсь к избам, в которых живут рабочие, присланные Гуркиным. Все они молоды, еще никто из них не служил в армии. Но многие побывали в колониях. Судьба собрала их в Кед-

ринске. Им бы и работать там, например, рядом с бригадой Жукова. Но Гуркин отправил их сюда, потому что прораб Еремин просто захотел избавиться от этой компании. Только бригадиру их Войченко лет сорок. От отсидел за что-то срок. Прежде работал шофером. Теперь должен сколько-то отработать где угодно. И если получит хорошую характеристику, ему могут вернуть права. Ему нужна характеристика, и он послушен. Внимательно выслушивает меня всегда, бросается выполнять указание. Кричит на своих «орлов». Он презирает работу, которую приходится выполнять. Хотя не говорит об этом, но ребята это чувствуют.

Свой авторитет Войченко поддерживает рассказами о своей прошлой жизни. Много, много врет. За глаза рабочие называют его трепачом. Поселился он отдельно от бригады, в избе одинокой вдовы Дарьи.

В Кедринске ребята жили в общежитии. Ясное дело, деньги они считать не умеют. Часто перед получкой голодали. Здесь каждый платит хозяйке за питание и жилье двести пятьдесят рублей в месяц. Деньги вносят вперед. Ежедневно сыты. Каждый мечтает к осени приодеться.

У длинноволосого Чикарева, зубоскала и клоуна, имеются только драные штаны военного образца, фуфайка да ботинки.

В смысле расходования денег я сам порядочный разгильдяй. Но тут становлюсь в позу, читаю наставления. Деревенские прозвали бригаду чикинцев от прозвища Чикарева — его зовут Чикой.

Жизнь в деревне им пришлась по душе. И самый мощный козырь, который пускаю в ход для поддержания дисциплины — угрожаю отправкой в Кедринск.

Настроение — вот что руководит всей бригадой. Сегодня они могут горы свернуть. А через день вялы, скучны. А вокруг сколько соблазнов! В лесу созревает малина, в ручье водится форель. Рядом Вязевское озеро, в котором так приятно искупаться. А соседняя деревенька Тутошино издавна славится красивыми девушками веселого нрава. Там часто устраиваются беседы. Иногда кто-нибудь из чикинцев возвращается из Тутошина под утро. Какой из него днем работник? И не могу же я целыми днями торчать надсмотрщиком возле них. Надо побывать у пилорамы, которая в Вязевке и которая стара, расхлябана. Возле нее убивают время трое моих рабочих и колхозный слесарь. Пилорама то и дело ломается. Энергию подают с какой-то шведской ГЭС. Вечером, когда в избах горят лампочки, пилорама «не тянет».

Потом надо сходить в Заветы к коровнику и в лес, где рабочие заготовляют бревна. По договору колхоз должен обеспечить строителей лесоматериалом. Но его нет.

Познакомился с туземным начальством.

Клинцы, как и другие деревеньки, разбросанные по лесу, числятся отдельной бригадой. Бригадиром работает Иван Аленкин, подвижный, рыжеватый тридцатилетний малый. Встретился я с ним возле его новенькой избы, обшитой тесом.

— Вы бригадир?

— Я.

Мы присели на бревно. И в это время из окна высунулась рыжая худая женщина и закричала:

— Вспомнишь, Ванька, со своим Барановым осенью мои слова! Вспомнишь! В Зябиловке рухнет свинарник, я первая на вас в суд подам!

Это кричала жена Аленкина. Она работает зоотехником. Надо думать, слова ее относились и ко мне. Аленкин молчал, и я спросил:

— Как дела в колхозе?

— Так себе...

— А в бригаде?

— Ничего.

— На денежную оплату перешли?

— Да.

— Как же выходит?

— Пока неизвестно. Наверное, как у всех...

— А как у всех?

— Всяко. У кого как... Ты партийный?
Я взглянул на него.
— Нет.
— Почему?
— Еще не успел вступить.
Он ударил себя по коленке, выругался. И стал бранить клинцовских девчат, которые у меня работают. В бригаде рабочих рук не хватает, а они не хотят работать.
— Если будут лениться, прогони их.
Я спросил, есть ли поблизости строевой лес.
Близко нет. Здесь место болотистое. Почему же бревен не заготовили зимой? Да кто же будет заготовлять? Народа нет, времени нет. Но ведь по договору колхоз должен поставить лес. Мало ли что! Если нет, так что сделаешь!
Он спросил о моей зарплате. Потом мы помолчали и разошлись.
О председателе первые сведения получил от хозяйки. Я спросил, не знает ли она, когда он приедет из города.
— Да кто ж его знает! Он когда как: то на день уедет, то на три. Может, уж приехал да в какой-нибудь бригаде застрял.
— Он местный?
— Нет. Третий год как приехавши из Ленинграда. Говорят, норовит обратно, да не пускают. Говорят, корову продает, корова у него хорошая. Купил он ее у Саньки Морозовой. Санька погорела, перебралась в Новогорск к сыну, корову ему продала. Да вот теперь продает. Но кто купит за три тыщи? Зябиловский тракторист Васька давал ему две, тот не продал.
— Чего ж он уезжать хочет?
— Так чего же... Небось не сладко тут: женка его там, детишки там, фатера там. А он один здесь.
Через день встретился с председателем. Я сидел в правлении, пытался дозвониться в контору. Сделать это не просто. Вначале дают сорокинскую почту, она — кедринскую, кедринская — коммутатор треста, коммутатор — контору. Что-нибудь в этой цепи обязательно занято, но вот соединили с конторой, и голос секретаря Маши ответил: «Из начальства никого нет на месте».
К правлению подкатила двуколка. По крыльцу взбежал высокий мужик в хромовых сапогах. Прошел к себе в кабинет, потребовал по телефону зябиловскую бригаду, выругался и умолк. Прохожу к нему, представляюсь.
— Слышал, слышал,— говори́т он, протягивая руку,— Окунева убрали. Давно пора. Что, бездельничают твои люди? — Он барабанит по столу длинными сухими пальцами.
— Работают.
— Работают! Я бы их всех разогнал давно!
— Вы не выполняете договорных условий.
— Условия, условия,— он поднялся,— ну пойдем, посмотрим, как хоромы строятся. Эй, Иваныч, придет Кирилл, пусть жеребца не ставит в конюшню. Зыков заявится за деньгами — не давай ни копейки. Скажи, что я запретил.
Мы побывали в Клинцах, в Заветах. Шли обратно в Вязевку, Баранов остановился на пригорке, окинул взглядом озеро, лес, деревню.
— Черт возьми, как хорошо здесь летом! Помню, приехал сюда, думал, какая благодать! Рыбу можно разводить, уток. Покосов сколько!
— Ну и что же?
Он посмотрел на меня.
— Да ничего. Вы, горожане, ни черта не понимаете... Послушай,— изменил он тон,— может, искупаемся? Третий год живу здесь, а в озере ни разу не купался.
— Давайте.
Мы искупались, но купание не взбодрило его. Наоборот, он как-то ссутулился, стал молчалив.
Около пекарни Баранова ожидал зябиловский бригадир Николай. Председатель пожал мне руку, пригласил к себе, и мы разошлись.

Вечером я писал письма. Потом читал Лескова. В Вязевской библиотеке имеются почти все книги наших классиков. Книги стоят спрессованными рядами. Я решил прочитать их. Но странно: чтение не доставляет мне удовольствия. Я пропускаю строчки, мельком пробегаю по страничкам, потом возвращаюсь обратно. Бросаю книгу и начинаю ходить по избе.

Теперь я часто встречаюсь с председателем. Бывает, сижу за столом. За окном уж темно. Хозяйка спит. Вдруг слышится под окном «трр». Баранов входит в избу, ставит на стол бутылку водки.

— Что, все бумагу переводишь? А я вот застрял в Змеевке, заехал к тебе. Принимай гостя.

Я достаю из печи чугун с кипятком, завариваю чай. Сидим, подолгу беседуем. Лампочка горит неярко. Тени наши колышатся на серых стенах. Папиросный дым окутывает нас. Баранов то и дело вскакивает, ходит по избе, рассуждая.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

До приезда сюда он работал на заводе начальником цеха. Родился он в деревне где-то под Воронежом, еще ребенком уехал из деревни вместе с родителями и больше там не бывал. Но считал себя деревенским, «земляным», как говорили на заводе. Два года назад Баранов откликнулся на призыв партии, решил поехать в деревню, поднимать разваленное хозяйство. Перед отъездом прочитал для порядка несколько романов из сельской жизни. Накупил брошюр о хозяйстве северных областей, приобрел «Справочник по законодательству для колхозника». Опыт работы с людьми у него был богатый. Рисовалось в мечтах, как он приедет, воодушевит, организует людей. Когда говорили, что за три года он должен поднять хозяйство, он внутренне улыбался: за три года! Он за год поднимет! И вот приехал сюда. Провели собрание, ему вопросов почти не задавали. Проголосовали и разошлись. В первые дни побывал во всех шести бригадах, разбросанных по лесу. Снял двух спившихся бригадиров. Потом взялся за бухгалтерские дела, в них обнаружил такой беспорядок, что ужаснулся. Например, по ведомостям были выплачены деньги братьям Егоркиным за изготовление трех саней. Изготовили сани в конце января. В марте их списали вместе с сеном и одной лошадью: перевозили сено через озеро, лед проломился. Сани, сено и одна лошадь утонули, люди спаслись и спасли двух лошадей. А в мае те же Егоркины получили деньги за ремонт «утопших саней, извлеченных из озера братьями Иваном и Федором Егоркиными с помощью тракториста Шапошникова И. В., который при этом был пострадавши через то, потому что берег у места потопления жидкий, трактор начал тонуть. И Шапошников И. В. проявил смелость и находчивость в спасении государственного имущества: он, будучи больным от рождения, нырнул в ледяную воду, отцепил от трактора трос. За что и выдано ему единовременное вознаграждение в размере двести (200) рублей».

— Где же зти сани? — поинтересовался председатель, глядя на сизую, лисью физиономию бухгалтера Вертечкова. Тот ответил женским голосом:

— Сани были отданы в Зябиловку.

— Зачем их в мае ремонтировали?

— В Бекетовом овраге снег лежал до июня, по нему возили сено с лесных полян.

За бригадиром зябиловским был послан нарочный. Бригадир явился спустя сутки, он ездил в Синьково на похороны сестры.

— Саней нету,— прохрипел бригадир,— двое сгорели при пожаре, а третьи развалились. Третьи-то есть, они лежат за огородом Лыскова. Но они негодны...

С неделю рылась в бумагах ревизионная комиссия во главе с председателем. Хищения были налицо. Но все было так дико запутано, что распутать оказалось невозможно. Вертечков был снят с работы, его место занял бывший счетовод Иваныч. Баранов ехал сюда, думая выявить лодырей. Ожидал, что здесь составится против него оппозиция из любимчиков предшественника. Но никакой оппозиции не оказалось. А лодырь и дебошир здесь один на весь

колхоз — пятидесятишестилетний Ефим Сковородников, прозванный на деревне Полковником. По ночам Полковник ловит сетями в озере рыбу, сплавляет ее бабам за водку. Пьяным бегает по деревне и кричит:

— Кто? Кого? Полковника? Я до всего дойду! Мы еще посмотрим! Вы думаете, кто такой Ефим Сковородников! — И стучит себя кулаком в грудь.

Жена начинает урезонивать его, он гоняется за ней с ремнем, покуда не свалится. Тогда полковничиха связывает мужа, поливает холодной водой. Лупит по щекам, приговаривая:

— Ну-ка, замахнись теперя! Ну-ка, черт худой, жид проклятый, замахнись-ка ремнем, душа окаянная!

А в трезвом состоянии Полковник сидит у окна, пьет чай, кряхтит от боли в пояснице, в животе, в ногах.

Полковничиха исполняет несколько должностей: ухаживает за колхозными свиньями, убирает в правлении и в продуктовом магазине. Ей лет сорок пять, но выглядит старше, худая двужильная баба. О самых простых вещах не поговорит нормальным голосом. А кричит, напрягаясь так, что жилы вздуваются на шее. Однажды уехал Баранов в Новогорск, нужно было задержаться на три дня. Шофера Никиту отправил в деревню. Тот загулял у родственников. На ферму надо было привезти из сорокинского сельпо отруби. Двое суток кормили свиней травой. Вернувшись из города, Баранов сидел в кабинете. Полковничиха хоть и не прошла к нему, но в другой комнате кричала на все правление:

— Начальство, видишь ли, большое! Агромадное начальство! Скоро гадить в огород будут на машине ездить, а скотина хоть подохни!

Он только скрипнул зубами: не разобравшись, не ори! Эх, если б так на заводе поступила какая, мигом бы приструнил!

Да и другие бабы хороши... Шутят, смеются, а попробуй задень какую, матом обложит, как и мужик не сумеет. Заведутся между собой, готовы глаза друг другу выцарапать. Как-то среди дня схватились перед магазином Валька Шаталова, молодая интересная вдова, и жена завхоза Люба.

— Ты б...., ты курва, ты проститутка оборванная! — кричала Люба, трясла вскинутыми кулаками,— ты под моего мужика сама лезешь, да он не хочет тебя загаженную!

Баранов стоял в кабинете. Не подходя к раскрытому окну, смотрел на женщин. Неловко было крикнуть им, чтоб разошлись, не позорились. А одерни их, на тебя же набросятся. Хоть бы разнял кто из своих!

— А вот хочет,— плевалась словами Шаталова,— хочет, дура ты, хочет! Сам приходит. Он с тобой, шкурехой, два года уже не спит, а захочу и совсем бросит!

Собрался народ.

— Ах, дуры!

— Так, так ее! — подзадоривали мужики неизвестно какую сторону.

— Меня бросит? — била себя в грудь Люба.— Меня поменяет на тебя?!

Шаталова кривлялась, уперев руки в бока:

— Да, тебя. Ты знаешь, куда он меня целует? Сказать? Хочешь скажу?

Жена завхоза вдруг побледнела, схватила что-то с земли, ударила Шаталову по голове. Та завопила. Поймав своего врага за волосы, свалила на дорогу. А Люба продолжала бить ее по лицу. Била она старой, истертой подковой с остатками гвоздей...

Рассказав об этом случае, Баранов умолк. Смотрел в стакан. Под покоробленными обоями шуршали тараканы. Прошли под окном чикинцы.

— Чем же кончилось? Судились?

— Какой там! Завхоз избил жену, вот и весь суд...

У Шаталовой шрам под виском остался...

Кроме Полковника есть еще в Вязовке явный антиобщественный элемент — семидесятилетняя Акиньевна. В списках сельсовета она числится: «Акиньевна, нетрудоспособная, 70 годов. Старуха». Запись была сделана лет восемь назад. Живет Акиньевна одна в дряхлой избушке. Держит в избе кур в клетках, даже летом не пускает их на улицу. Занимается перепродажей водки. В любое время суток можно постучать к ней, купить бутылку водки,

заплатив немного дороже, чем в магазине. У старухи можно и выпить. В распутицу, когда деревня отрезана от сельпо бездорожьем и в магазине водки нет, а у Акиньевны запасы истощились, она впрягается в где-то добытую почти новую детскую коляску с мягкими рессорами, отправляется в деревню Вешкино, до которой километров пятнадцать. Мужиков там мало, городских людей не бывает, и в магазине всегда есть водка.

Сыплет мелкий дождик, на дороге грязь такая — молодой устанет, пройдя пару километров. А старуха тащится, набросив на голову клеенку, согнувшись под прямым углом, тыча перед собой палкой.

— Тебя как звать-то? — остановил ее однажды на улице Баранов.

Старуха с трудом разогнула шею. Взглянула на него маленькими, зоркими глазками.

— Чай не знаешь? У любого спроси и скажут...

— Когда кончишь водкой торговать?

Старуха заулыбалась. Прошамкала:

— А ты, желанный, положи мне пензию. Махонькую определи. Я и угомонюсь. Смерть-то не берет, а исть охота.

— Нельзя торговать, бабка...

Потом пожалел, что заговорил с ней. То ли в его голосе она уловила добрую нотку, то ли подлец какой-то подшутил над ней. Раз пять приходила в правление. Станет на середине комнаты, обопрется о костыль, стоит, шевелит губами провалившегося рта.

— Зачем пришла в правительство, Акиньевна? — спросит кто-нибудь.

— Пензия не вышла, желанный?

— Еще нет. Тебя на том свете давно ко столу ждут, а ты тут спотыкаешься...

Прошлой зимой возвращался однажды Баранов со шведской ГЭС. Была пурга. Вечер застал его в дороге. Около Косого мостика чуть было не сбил жеребцом облепленную снегом старуху, тащившую санки. Посадил ее в сани. Тяжелую корзину поставил у себя в ногах.

— Ты чья? К кому собралась? — крикнул он сквозь вьюгу под балахон старухи, ударяя вожжей жеребца и, приглядевшись, узнал Акиньевну. В корзине ее была водка...

— Тебя, Акиньевна, сам председатель теперь возит,— смеялись на деревне,— можно и вывеску на избе повесить!..

С особой горечью говорит председатель о том, как незаметно промелькнуло его первое деревенское лето. Подкралась осень, и наступила пора уборки урожая. Картофель, брюква, морковь, капуста — уродились замечательные. С рассвета дотемна носился он из бригады в бригаду по разбитым дорогам. Людей не хватало, уборка шла медленно. Потом зарядили дожди. Здесь, в Клинцах, убрали тогда весь картофель. Под снегом остались только две поляны овса. Картофель ссыпают в погреба, устроенные прямо в поле. И вот когда открыли зимой первый погреб, ударило из темного зева ямы горячей гнилью. На сорок сантиметров от пола была в яме вода! В других ямах творилось то же самое. Даже на семена не хватило картошки, пришлось занимать в других бригадах, покупать у самих же колхозников. И хоть утверждали клинцовцы, что когда ссыпали картошку, сухо было в ямах, не верилось. Сыпали-то перед морозами, дождей уже не было.

Значит, и не смотрели, куда ссыпали...

Пробовал Баранов сойтись поближе с бригадирами. Для решения вопросов не вызывал их в правление.

— Во время этих совещаний веет в воздухе официальщиной. Все только слушают меня. Сами говорят мало, друг друга подталкивают локтями...

Как-то под вечер приехал в Клинцы к Аленкину. Сказал бригадиру, что завтра с утра нужно поговорить с людьми. Остался ночевать. Сидели за столом. Зина накрыла стол. Тихо говорил приемник. Прослушали последние известия, выпили бутылку водки. Аленкин послал соседского Федьку за второй к Акиньевне. Покуда говорили о сугубо личных делах, обменивались новостями, обсуждали международные проблемы, Иван был разговорчив, весел. Потом Баранов спросил в упор:

— Уходят люди от нас. Как же быть? Вот умрут старики, опустеет твоя деревня...

Иван взглянул на председателя, сморщил в задумчивости губы по-старушечьи. Сказал убежденно:

— Нагонят!

— Кого нагонят?

— Да людей.

— Откуда?

— Да из города! — твердо, зло ответил бригадир.

И пропало желание сидеть, разговаривать с ним.

Ястребовский бригадир Паличев Яшка торопливо, жадно пил водку во время разговора. Отмалчивался. На все отвечал: «Это не наше дело, Михалыч. Наше дело маленькое. Прикажут — делаем по возможности. А что там будет, где нам понять». Совершенно опьянев, взял с печи гармошку, играл, пел песни. Жена его, видимо, желая повеселить гостя, сплясала...

Остальные бригадиры оказались не лучше.

Удивил Баранова тутошинский бригадир Кирсанов, которого он впервые в тот вечер увидел в домашней обстановке. Кирсанов собирался в Новогорск погостить у брата. Был по-городскому одет. Изба заставлена современной мебелью, да такой, что и в Ленинграде не сыщешь. Жена бригадира, сероглазая, стройная красавица, вертелась перед зеркалом со щипцами в руках.

— Алексей Михалыч,— напрямик заявил Кирсанов,— я по-честному скажу тебе, чтоб ты не строил насчет меня планов: здесь я не жилец, скоро уйду в город.

И через два месяца уже работал в новогорской милиции...

— Да что Кирсанов,— дышал мне в лицо председатель, бледнея, хватаясь дрожащей рукой за край стола,— в городе у него родственников полно, ну и устроили. А это как назвать? Прокатилась вдруг по Вязевке волна хулиганства. Началось все с Николая Куркова. Ты его не знаешь, он давно в городе. Напился он пьян, ввалился в правление и потребовал денег авансом. Пригрозил кнутом Иванычу, Аленкину толкнул. Та кричать, сбежался народ. Драка. Куркова судили, дали ему три года. А спустя год он вернулся. Этаким фертом заявился в правление. «А-а,— говорю,— приехал, выходи работать».— «Это ж с какой стати я буду у вас работать? Вы меня в тюрьму загнали, а я теперь работай?»

И повертел в руках паспорт... Слушай дальше: неделя не прошла, как девятнадцатилетний Лукьянов устроил драку в сельсовете. Передали дело в суд. А на следующий день порезали ястребовского бригадира, порезали ночью, и не знали, кто это. А днем в новогорскую милицию явился Ванька Круглов, заявил, что он ударил ножом бригадира, что был выпивши, давно имел зуб на него. Обоих судили. Судья спрашивает: «Вы признаете себя виновными?» — «Вполне. И не жалеем об случившемся». Каково? Дали им по три года. И не было обычных в таких случаях слез родственников. Пострадавших не упрашивали простить. А родственники Лукьянова даже на суд не явились! И почему ж так? Как ты думаешь? А?.. Сами шли в тюрьму! Понимаешь?! Натолкнул их на эту мысль Курков. Собрал в своей избе, угостил вином и, этак бахвалясь, рассказал, что в тюрьме жить можно. Если хорошо будешь работать, отпустят раньше срока. И тогда где хочешь, там живи и работай — паспорт запросто получат.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Голова у Баранова отказывалась соображать. Ни о чем не хотелось думать. Но не думать нельзя. А там пришла зима, осенние хлопоты улеглись. Дни стали короче, темнело рано. И озеро, и лес, и деревня завалены снегом. В Ленинграде рядом с ним была жена, которую он любит, дети. Много знакомых, друзей. Там он не знал одиночества. Теперь же хотелось быть одному. В Ленинграде он газеты не читал — просматривал, моментально улавливая суть той или другой статейки. Теперь же прочитывал газеты от строчки до строчки.

Печь он не топил, часто и плиту забывал разжечь. Сидит за столом в шапке, в полушубке, наброшенном на плечи. Отложит газету, смотрит в стену перед собой. Вот потянулся рукой за зеркальцем, взглянул на себя. Увидел худую физиономию, обросшую щетиной, круглые, провалившиеся глаза. Да, сорок лет уже! Скоро пятьдесят... Потом старость... Жизнь будет прожита. «Как ты прожил ее?» Дай бог каждому так прожить, как он до приезда сюда: он не помнит ни одной сделки с совестью. Молодым ушел на войну, потом кончил училище. Офицером прошел до Берлина, ни разу не струсил. Нападал на него при бомбежке животный страх, умел сдерживать, давить его. В конце войны женился. Наступила мирная жизнь. Некоторые приятели его, отвоевав, оставив армейскую жизнь, изменились. Один обзавелся домом, закупорился в нем, как в раковине, другой бросился, не считаясь со средствами, добиваться видного положения в обществе. Из таких, сколько он знает, ничего не добились, начали пить, брюзжать. Он же оставался самим собой, ничего особенного для себя не хотел. Работал, отдавал все силы. Уважение рабочих, начальства выросло как бы само собой. Бывали, конечно, неприятности. Но все они смазывались общим ходом жизни. А здесь?..

Баранов бросал зеркальце, вставал, ходил по избе из угла в угол. Прежде он не рассуждал на отвлеченные темы, в самоанализ не ударялся. Теперь думалось о многом, мысли сбивались, путались. Хотелось их выровнять, чтоб связывались одна с другой, текли, текли и, наконец, вылились бы во что-то определенное. Но останавливался перед промерзшим окном, смотрел, и мысли сбивались. Вон избы, огоньки. Кто-то прошел под окном, скрипя снегом. Пробежала собака. Чья она? Белое, гладкое озеро, за ним темнеет лес. Луна затянута серой пеленой. И больше ничего... Вон виднеется угол кузова машины, занесенной снегом, промерзшей до винтика. Большую часть года простаивают, ржавеют из-за бездорожья машины. Баранов резко оборачивался. Ложился спать. Засыпая, думал о жене, о первой встрече с ней. Но почему-то чаще всего вспоминался приезд с женой в Ленинград после демобилизации. Отец Вари, старый профессор истории, умер во время блокады. Мать, седая, согнувшаяся и полусумасшедшая от голода, потрясений старуха, водила дочь и зятя по большой квартире, заставленной старинной мебелью, завешанной коврами. Шептала, указывая костяными пальцами:

— Это, Варенька, тоже дорого стоит, могли бы дать и десять буханок хлеба, да я берегла. Теперь много больше дадут. За библиотеку папину институт предлагал много денег, а я не взяла — пусть тебе, Варенька...

А Варя была уже беременна и часто плакала, глядя на мать.

Черт знает зачем вспоминалась полуграмотная старуха с опухшим властным лицом — нянька, которую взял в помощь жене по совету директора завода. Директор говорил, что нянька хоть и дорогая, но опытная. И директор шепотом произнес имена людей, у которых бывала старуха.

Недели две жила у них эта нянька. Пила много чаю, таинственно тихим голосом рассказывала: у каких людей ей приходилось нянчить детей. Как к ней относились, сколько и каких давали подарков. Баранов вскоре спровадил старуху...

Уже засыпая, он улыбался: вспоминал детей — мальчика и девочку. В школе, наверное, говорят товарищам, что их папа поднимает сельское хозяйство. Ему там трудно — повторяют слова матери...

Наконец он засыпал. Но через час-полтора глаза снова открывались. «Как старик сплю»,— мелькало в голове. Поднимался, доставал из стола водку, выпивал залпом стакан, нюхал хлеб, жевал листок кислой капусты. Водку покупал не здесь, привозил из Новогорска. Иначе пронесется по деревне:

— Председатель пьянствует! Вишь ли, при народе даже с бригадирами редко выпьет, а сам, запершись, глушит!

Ведь пронеслась молва: Баранов б.....н. А из-за чего? Была недолгая связь с одной молодой женщиной, пекарем Настей Порозняковой. Приехала она из Сорокина, где разошлась с мужем. Стала жить с матерью, работать пошла в пекарню. Баранов тогда не столовался ни у кого. Обедал где придется. Зашел как-то с бригадиром в избу Насти, мать ее, Матвеевна, подала гостям щей. Понравилась Баранову чистота в избе, опрятность самой хозяйки — подавала

тарелки, не макала пальцы во щи. Стал он ходить к Матвеевне обедать, ужинать. Ужинать приходил поздно, иногда перед полночью. Сбрасывал у порога грязные сапоги, плащ. В одних носках шел к столу. Возбужденный сумасшедшим днем, обжигался горячими щами, нервно дергал плечом, поглядывая на Настю, которая вместо матери хлопотала у печки. Была она румяна, бойка. Проворно работала полными белыми руками. Постоянно улыбалась загадочной улыбкой. Чувствовалось, что она только что из теплой постели... Тот день был дождливый. А вечером обрушилась на деревню гроза с ливнем. После ужина не хотелось ему уходить из чистой комнаты, из тепла в грязь, дождь. Представил свои пустые комнаты, жесткую кровать. Захотелось вдруг немножко уюта, нежной, мягкой женской ласки. И будто угадав чувство председателя, Настя сказала, улыбнувшись:

— Куда вам идти-то в такую слякоть, Алексей Михалыч? Оставайтесь у нас переночевать. Чай никто ведь не ждет в поповской избе?

— А мать где? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Нету. Она в Клинцах у тетки Ани. Видать, и заночует у нее.

Она постелила ему на своей кровати, сама легла в соседней комнате. Заснуть он не мог. За стенкой скребся, отчаянно метался ветер, выло в трубе. Он ворочался, курил. Из головы не выходило, что вот совсем недавно в этой кровати лежала молодая, красивая, свободная женщина. Сейчас она лежит за тонкой перегородкой. Должно быть, не спит. О чем она думает? Вдруг Баранов сел, свесил ноги. В дверях стояла Настя.

— Что не спите, Алексей Михалыч? — спросила она тихо.— Вам худо?

Баранов встал, протянул руки.

— Я и то думаю,— сказала она,— вдвоем теплее будет...

Когда забеременела Настя и нельзя уж было скрыть этого, она уехала обратно в Сорокино.

Баранов перестал столоваться у Матвеевны. Думал, о его связи с Настей никто не знает. А не знали, может, только двое: совершенно глухой старик Серебряков да Акиньевна, живущая обособленно от всей деревни. И судили деревенские спокойно: председатель из себя видный мужик. Настя холостая. Что же им оставалось делать?

Но по бригаде расползся слух, будто Баранов до баб страшный охотник, редко какая вдова миновала его. А сколько еще слухов распространилось о нем!

Первые три года колхоз должен выплачивать председателю зарплату — полторы тысячи рублей в месяц, независимо от доходов. Доходы не росли. И Баранов брал только тысячу. Пятьсот рублей оставались в кассе. Вначале деревенские не поверили этому. Но Иваныч подтвердил:

— Да, полтыщи не берет!

И пополз слух, будто у Баранова тесть и теща — важные профессора. Получают уйму денег, девать их им некуда. Жена присылает председателю деньги не переводами, а в конверте.

— Вложит в конверт несколько сотенных и пошлет вместе с письмом, чтоб не забывал ее...

— Дивья такую бабу иметь...

Летом приезжала жена с детьми. После их отъезда заговорили, будто Баранов собирается покинуть деревню. К этому времени он уж купил корову: решил обзавестись хозяйством, жить, как все колхозники. Зашептали: и корову председатель продает.

Однажды к нему в избу пришел зябиловский тракторист, предложил за корову две тысячи рублей. Баранов выпроводил незваного покупателя.

Тракторист сообщил людям:

— Не продает Баран. Говорит: «Я купил за три тыщи, а ты мне две даешь? Не отдам».

Бабы обмозговали новость, решили, что, конечно, продавать дешевле, чем купил, невыгодно. Выгоднее зарезать корову, мясо свезти на базар, шкуру выделать, продать. Такое рассуждение приписали Баранову. Гадали: когда он покинет деревню и каким окажется новый председатель.

— Как же быть? Что делать? Задавал я себе вопросы,— рассуждает Баранов. Мы сидим с ним на берегу озера в кустах. Вечереет. Озеро тихо, гладко.— На Медвежьих полянах трава выбухает такая, что ляжет корова и рогов не видно. А весной скотина голодает. Кормим березовыми ветками. Навел порядок в бухгалтерии, а толку мало. Начали нестись куры, а яиц нету — сами же куры их поедают. Телята пьют молока много, а покуда не выгнали их на пастбище, сорок голов погибло от поноса. И виновных нет! Нет виноватых, черт возьми! Вот в чем штука. Все возмущаются, все кого-то винят, чего-то ждут... Собирал партийные собрания, съезжались те же бригадиры. Каждый поддакивал: да, дело плохо идет, нужно работать лучше. Брали обязательства, а потом столько приводилось причин в оправдание невыполненных обязательств, что разведешь руками, да и все... Веришь, Борис, прочитаю в газете о целине и думаю: почему не поехал туда? Хотелось, видишь ли, поближе к семье быть. А там же работа! Там нужна энергия, воля, желание работать. Там ежедневно видишь плоды своего труда. А здесь...

Побывал он в соседних колхозах, в «Искре» и «Заре». В «Заре» дела еще хуже, чем у него. Председателем там Никовский — копия бригадира Аленкина, только постарше. Сидит, ждет указаний из района. Выпивает понемногу.

— Людей, людей нету,— говорил Никовский,— что без них сделаешь? Которые и есть, работать не хотят...

Сидит, ждет, когда его снимут.

— В следующую посевную меня, пожалуй, тряхнут, да и скорей бы. Пойду механиком...

В «Искре» председатель то ли дурак, то ли негодяй: громадный рост, голос внушительный, на месте не сидит, на всех орет. Бригадиры рапортуют ему в письменной форме, конечно, врут много. По их бумагам он составляет свою сводку, везет ее в район. И там он шумит, требует помощи, дает обещания. Пишет в районную газетку статейки под рубрику «Вести с полей».

— Работаем, работаем, подтягиваемся! — бубнил он Баранову в лицо.— Нюни нам некогда распускать...

А хозяйство искровское должно государству больше, чем восходовское — восемь миллионов рублей. При Баранове завезли трестовские машины удобрения. Свалили их за деревней несколькими кучами. До весны пролежали удобрения, вешние воды унесли их в болото...

Первое время Баранов часто ездил в район. Потом почти перестал ездить туда. Звонили из райкома. Просил своих сказать, что его нет, уехал в бригаду...

Домой уходил рано. Запирался в избе, садился за стол. Вошло в привычку: раскрыть книгу, пробежать несколько строчек и потом думать. В эти минуты он был уже не председатель, не бывший начальник цеха, а просто человек. И думалось легко, свободно. А как хорошо, когда легко, свободно думается! И в это время в мыслях не было никаких желаний, ни постановлений, ни решений, ни указаний. Мысли его тянулись к вязевским, клинцовским, заветовским людям.

Вот живет по соседству с Акиньевной красноносый сгорбленный старик Сидорыч Молочков. Прежде жил Молочков с внучкой. Внучка вышла замуж, перебралась в Заветы. В избе у старика голо, хоть шаром покати. Зимой и летом спит Сидорыч на печи. С утра до вечера бродит от избы к избе. Там выпьет чаю, там съест тарелку щей. А для Полковника он — любимейший гость: Молочков всю жизнь проработал на лесоразработках, теперь получает пенсию, которую и пропивают. За свою жизнь Молочков повидал множество людей, пережил множество разных случаев. Любит рассказывать. И на деревне слывет очень умным человеком. Заглянет в правление, сядет на лавке и сидит молча, покуда кто-нибудь не спросит о чем-либо. У магазина присядет на порожке и, если тепло, тоже сидит часами, мигая красными веками без ресниц. Деревенские обращаются к нему с различными вопросами.

— Будут ли в нынешнем году грибки, Сидорыч?

— Должны быть. Вот дождик пройдет, и должны быть...

— Сажать картошку или подождать маленько?

— Дня три еще подождать надыть,— отвечает Сидорыч,— землю самый раз парком прохватит.

— Агрономша сказала — сажайте.
— Ну и сажайте, коли сказала...
Агроном — Екатерина Зиновьевна — живет в деревне десятый год. Мужик ушел от нее, оставил с тремя детьми. Четвертого, говорят, заполучила от предшественника Баранова.
Что она делает в хозяйстве? Получает какие-то брошюры, предписания, мешочки с зерном. Пишет глупые, но нужные кому-то отчеты. И что бы ни делала, голова ее занята детишками, своим хозяйством. Посидит, посидит в правлении и бежит в свою избу. Хитрить научилась: скажет, что поехала в Заветы, а сама дома белье стирает. Заговоришь с ней, часто моргает, крутит свои пальцы, хрустя суставами...
В Вязевке есть больница, сельсовет, почта, два магазина, пекарня, клуб, правление. В этих учреждениях городского типа работают вязевские люди. Часть вязевских мужиков устроились в лесничестве. А земля-то требует ухода. Весной-то посеяли, а осенью убирать было некому. Клинцовские, заветовские люди не желают работать на вязевской земле.
— Мы со своей еле управляемся,— говорят они,— а вязевские по часам работают!
— В белых халатиках!
— По часам работают, а сенокос, огороды имеют!
— И пензию опосля получают!
— Но вы же ходите в больницу? — говорит председатель.— В магазине печеный хлеб покупаете?
— А нешто мы не работаем? Мы не по часам работаем!..
...Да, работают... Но откуда же эта бедность, будь она проклята?! А не бедность, так убожество! Возле пилорамы живет Захаров Василь Василич, могучий мужик, инвалид войны. Изба у него крепкая, хозяйство солидное. Два сына его, отслужив в армии, остались в Кедринске. Живет он с двумя дочками, которые часто навещают братьев. Говорят, одна из них, Катька, уже нашла в Кедринске за пять тысяч рублей жениха: для проформы выйдет замуж. Получит паспорт и разведется с мужем. Бедна ли их семья? Нет. Когда банк задержит деньги или не хватает для полного расчета с колхозниками, бухгалтер Иваныч берет взаймы у Захарова по восемь, десять тысяч рублей. А зайди в избу Захарова: темно, обои на стенах облуплены. Кровать хозяина без простыней. Едят все из одной миски...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

И прожгла однажды Баранова жестокая мысль: не знает он деревню! Живет она лет четыреста, а может, и больше — кто знает? Во всяком случае печи для обжига извести сорокинского заводика существовали уже при Петре Первом. Известь готовили для постройки церквей, монастырей. Сотни лет жила деревня. Пахотной земли мало и сейчас, а тогда, конечно, еще меньше было. Люди разводили скот, драли лыко, собирали грибы, ягоды. Варили деготь, жгли уголь. Зимой везли все зто в далекий, тихий монастырский город — в Тихвин. Молились и молятся богу. Молятся по-разному. В Вязевке мирские люди, здесь ходили в церковь, венчались. А в Клинцах, в Заветах — староверы...
Узнал Баранов, что на берегу озера в нынешней школе жил когда-то помещик, которому принадлежала эта нищая и богатая земля. Жили богато в Вязевке только четыре двора. Какие-то Завалиновы, они держали кабаки. Шматковы торговали скотом. Заеловы и Стручковы — лесом... Помнят старики помещика Володина, жившего за Вязевкой у пруда. Ему принадлежали пруд, водяная мельница. Жил Володин в простой избе. На мельнице заправлял делами нанятый мужик, а он шатался по лесу с ружьем, пьянствовал с мужиками. После революции Володин, оставшись без мельницы, бродил пьяным по деревням. Его никто не трогал. И в одну зиму он замерз на дороге.
Кабаки Завалиновых превратились в магазины. У Шматковых забрали табун лошадей. Года два бились мужики с землей — как ее разделить? Здесь

поляны близко, да трава плохая. За Могильным хутором клевера хорошие. А к Жигалевским полянам надо через болото пробираться. И не делили землю, косили сообща. Потом делили сено.

Волостной совет размещался в Вязевке. Председателем был некий Пружанов, приехавший из Череповца. Мужики только пожали плечами, когда Пружанов назначил своим помощником девятнадцатилетнего Ефимку Сковородникова, нынешнего Полковника. Отец Ефимки был здоровым мужиком, но хозяйства не имел. Драл лыко, собирал, сушил грибы, снабжал помещика рябчиками, форелью. И вот сын его стал помощником Советской власти!

Трагической оказалась сходка, о которой до сих пор помнят, когда Пружанов, собрав народ, объявил, что бога нет. Религия — это буржуазный пережиток. Церковь закрывается. Иконы в избах надо снять. Для подтверждения отсутствия бога Ефимка нагадил в церкви и было объявлено: церковь превращается в общественный нужник. В ужасе жители разбежались по домам.

Нагадили Пружанов с Ефимкой на бога? Нет! Они нагадили на Советскую власть, на темные головы людей, поколения которых жили куском хлеба, картошкой да религией. Спустя год после этого собрания Пружанов перебрался в уезд, место его занял Ефимка. Баранов пытался представить: что мог натворить тут Сковородников? Но как ни напрягал мозг, путного в голову ничего не приходило.

За короткий срок на вековую темноту обрушились чрезвычайные новости. Убрали царя, которого и помещики считали чуть ли не господом богом. Прогнали помещиков, перед которыми деды и прадеды ломили шапки. Пришла Советская власть — бога нет! Неужто и его тюкнули? А потом поползли слухи о коллективизации. Чего только не шептали друг другу! Избы снесут, построят длинные сараи из железа. Баб, мужиков, девок поселят вместе. Детишки будут общие, хозяйство объединят... В избах ночами горели лампады, бились бабьи поклоны: пронеси, господи!

Перед войной приступили к организации коллективных хозяйств. Каждая деревня — отдельный колхоз. Не желающим вступить в колхоз давали «твердое задание» — отсылали на лесоразработки как саботажников. Уездное начальство говорило, что жить будет лучше. Но почему лучше? Все доводы вязли, тонули в простейших рассуждениях:

— Где ж богачество будет? Петр Скородумов с бабой своей встают до света, работают дотемна. А Зинаидовы продирают глаза к полдню. Своей корове сена наготовить не могут!

Потом пришла война. Всю войну был в Вязевке председателем некий Золотарев, уехавший потом в Ленинград со своей семьей. В эти места немцы не дошли, их задержали у Тихвина. В Клинцах, в Вязевке и в других деревушках одну зиму был расположен госпиталь. Бойцам отдали всю скотину, картошку... Но зачем вспоминать, что принесла война в деревню и что вынесла из нее. Не стало мужиков. Нет скота. Бабы лопатами вскапывали огороды, поля. Голодали. А после войны за одиннадцать лет здесь побывало тринадцать председателей!

— Тринадцать! — шептал Баранов, узнав эту новость, и по-бабьи повторял: — Боже, боже мой!..

Что это? Разврат властей? Вредительство?

— Да одно частное хозяйство, если в нем каждый год менять хозяина, через несколько лет погибнет, зачахнет... Как бы между прочим я расспрашивал о бывшем председателе,— Баранов улыбается слабой улыбкой больного,— из тринадцати в памяти людей остались несколько. Большинство не оставило никакого следа. Был председатель, уехал и все тут...

Помнят деревенские какого-то Зарудного, видимо, он был из хохлов. Высокий, «просто громадный», с коротко остриженной головой и бычьей шеей, Зарудный остался в памяти человеком, обладающим чрезвычайной силой.

— Что твой Зарудный,— говорят теперь на деревне, отличая сильного человека.

Зарудный мог выпить за один присест две бутылки водки. И не пьянел, а только краснел лицом немного. Однажды на мостике провалились сани

с сеном. Мимо проезжал Зарудный. Подошел к возу, «...добрался рукой до полоза саней, уперся вот так-то, растопырив ноги, напрягся и вывернул сани».

Баб водил на работу строем. Как рявкнет: «Бабы, смиррр-но!» — во всех избах слышно было.

Помнят Шкапелика Ивана Ивановича, тихого, вежливого человека. Никогда не ругался. Кто попросит у него денег взаймы, если есть, давал, а долг никогда не требовал. Лунатиком жил около года. Ходил всегда пешком. Жил он у Полковника. По вечерам читал книжки, писал что-то. Сидит, сидит над бумагами, закроет глаза и шепчет:

— Да, да... Видимо, я просчитался... ошибка вышла.

— В чем ошибка, Иван Иваныч? — спросит Полковник, надеясь высказать свои какие-то познания, которыми он гордился.

— Это я так... про себя.

Во сне разговаривал, махал руками. Полковничиха побаивалась: вдруг он припадочный?

Шкапелик приобрел невод за свои деньги.

Мужики вначале полазили в озере и забросили рыболовство. Сети куда-то исчезли. Когда Шкапелик уехал, появились сети у Полковника и у заветовского бригадира. И оба некоторое время рассказывали на деревне, как они копили деньги, как покупали сети в городе.

Память о себе оставил Боровиков — при нем проводили электричество, думали, делается это благодаря председателю: он пил с монтерами, выплачивал им деньги, хлопотал насчет проводов. А преемник Боровикова сказал, что тот никакого отношения к электричеству не имел. Занимается этим делом организация «Сельэлектро», у которой есть план. По плану очередь дошла до Вязевского сельсовета...

Побывал здесь даже московский грузин по фамилии Кутубидзев. Он внес в деревню невиданное до тех пор оживление, о котором до сих пор деревенские вспоминают с удовольствием.

После собрания Кутубидзев не раздумывал, где бы ему поселиться. Задал вопрос бухгалтеру Вертечкову, стоявшему рядом с новым хозяином:

— Где тут живет продавщица из магазина?

— Из какого? — ласково осведомился бухгалтер.— У нас их два.

— Из продуктового.

В продуктовом работала жена бухгалтера Раиса. Конечно, в избе Вертечкова нашлась кровать с пухлой периной. Кутубидзев не повторял вариантов своих предшественников, в расспросы, в беседы не ударялся. Предшественников не бранил. Вызвал в кабинет бригадиров, сказал им:

— Вот что, друзья мои. Я честный человек и говорю вам открыто: здешнего сельского хозяйства я плохо знаю. Но освоюсь быстро. Единоличие власти в процессе работы отдаю каждому из вас. Все вопросы решайте сами. Мне будете докладывать в установленные сроки. Смотрите у меня! Партия дала мне задание, кто не выполнит моих предписаний,— он оглядел соколиным взором бригадиров,— тогда узнаете. Я церемониться долго не буду...

Приехал Кутубидзев после уборочной, из-за которой полетел его предшественник. А с первым снегом впервые появилась компания хохлов: все здоровые, мордастые. В новых полушубках, валенки обшиты кожей. Приехали хохлы на своих лесовозах, поселились в избе Молочкова. Нагрудные карманы у них были набиты денежными аккредитивами. У каждого справка: дана правлением колхоза такому-то в том, что ему доверяется заключать договоры с организациями, частными лицами. Производить расчет как наличными, так и по безналичному расчету.

«Восход» продал на корню восемь тысяч кубометров строевого леса. Это по документам. Сколько было вывезено на самом деле, никто не знает. В лесу, в деревне кипела работа. Украинцы не тянули с оплатой, рассчитывались ежедневно.

Работали днем, ночью. Ревели эмтээсовские тракторы. Один трактор с прицепленным к нему громадным треугольником, сколоченным из бревен, патрулировал по маршруту Вязевка — станция Кедринская, расчищал для лесовозов дорогу от снега.

В руках мужиков шелестели червонцы. Раиса чаще ездила в сельпо — полки с вином быстро пустели. Акиньевна сбилась с ног — то и дело среди ночи стучали в дверь:

— Акиньевна, открывай гостиницу!

К апрелю исчез с лица земли Дальний сосновый бор. По документам мачтовые звонкие сосны прошли деловой древесиной третьего сорта по восемьдесят рублей за кубометр. Сколько на самом деле уплатили украинцы, никто не знает. Об этом даже не задумывались люди. Были довольны тем, что получили за повалку, трелевку, погрузку леса.

— Я не то, что другие,— распространялся обросший бородкой Кутубидзев,— вы ничего не получали на трудодень. Я вам заплачу по десять рублей!

После посевной Кутубидзев уехал.

Потом руководил хозяйством некий Сторублевцев. Помнят его из-за звучной фамилии.

Потом какой-то Кириенко. А перед Барановым был Иван Захарыч Стольников, он сейчас работает в Кедринске начальником снабжения СУ-4. При Стольникове и было произведено укрупнение колхоза. Тогда и вошли в «Восход» Клинцы, Ястребовка, Тутошино...

Баранов метался по холодной избе: загадили деревню! Да, да! По документам в колхозе две тысячи гектар пахотной земли, столько же сенокоса. Но где все это? Клинцы скоро обрастут кустарником. Да что земля! Людей искалечили! В тех же Клинцах живет, например, Мотя Раевская: шесть человек детей, старуха-мать живет, не слезая с печи. Завшивела. Ест, что сунут ей на печь. А не сунут, так и так. Дети Мотины не похожи друг на друга. Самая старшая Маруся, ей лет двадцать. Красива, глаза с поволокой. Говорят, она копия Моти, такой же красавицей была Мотя в молодости. Остальные дети мал-мала меньше. Один мальчик краснорыжий, другой черноволосый, с горбатым носом — вылитый Кутубидзев.

— Где насобирала столько, Мотя? — спросил ее Баранов как-то.

Та ответила с улыбочкой, но невесело:

— Под кустами! Одного здесь, другого там!

А сама тощая, морщинистая, глаза неспокойные. И работает неспокойно: ухватится за одно дело, не окончив, бросает начатое, берется за другое. Пошлет бригадир сено грести, бежит и гребет. А дома грязь, с печи тянет вонью: старуха все просит вымыть ее, а времени нет на то у Моти. Да и не обращает внимания на просьбы старухи. Закрутилась баба, замоталась, выскочила из колеи и ошалела. О-о! Какими же дети будут? Маруська ее и три подруги спят и видят во сне город. Уходили работать на известковый заводик, загружали известь в печи. Покуда было тепло, спали в сарае, чтоб не платить за жилье. С холодами перебрались в избу, спали в маленькой комнатушке на кожухах, платили старухе-хозяйке по десять рублей в месяц. Их уволили с завода, живут они дома. На работу палкой не загонишь. Лет пятнадцать люди ничего не получали по трудодням. Пятнадцать лет, день в день работать и ничего не получать за это. Раздать бы всем паспорта, сжечь избы — идите! Идите куда угодно! А самому пулю в лоб и пропади оно все к чертовой матери!

Но вот не выполнили его указания в Ястребовке: не возили навоз на поле, а уехали за сеном, за дровами в лес. И мелькнула жуткая мысль, которую мигом отогнал. Как ребенок, порадовался, что никому не узнать, какие мысли мелькают в голове. А мелькнуло страшное: взять бы человек десять парней с чужой стороны, посадить их на лошадей, дать в руки плетки и пусть ездят, проверяют работу — мигом бы вытянули хозяйство!

Подумалось такое, когда гнал во всю прыть жеребца из Ястребовки, давя челюстями мундштук папироски. В Вязевке придержал жеребца у магазина, пробежал за зеленые двери. Купил две бутылки водки, засохшего сыру. Засветло заперся в избе, сидел пил. Взгляд тянулся к висевшей на стене двустволке. Очень просто... упереть стволы в подбородок, нажать курки. Все исчезнет... Ходил по избе. Постоял у окна. Вглядываясь в сумерки, затряс головой, поморгал. Протер запотевшее от дыхания стекло: где-то что-то горит. На востоке над лесом застыл желтый полушар зарева. Пошатываясь, Баранов

спустился по скрипучим порожкам во двор. Стоял, расставив шире ноги, чтобы не качаться, смотрел. Где же горит? По дороге прошел человек, Баранов узнал тракториста Ямочкина.

— Василий,— крикнул он,— что может гореть в той стороне?

Тракторист задержался.

— Это не пожар, Алексей Михалыч,— сказал он.— Это зарево от Кедринска. Там теперь в ночную смену работают...

«Вот оно что... Дня мало. Скоро суток не хватит. У-у, грабитель! — погрозил вдруг председатель кулаком зареву, и у него слезы выступили из глаз,— грабитель! Людей высосал из деревни. Ночь, мрак ему мешает — осветить ночь! Долой мрак! Ему расти надо, набираться сил, потом грабить землю. Да, да! Сотни лет на него работают ученые, изобретают машины. Потом усаживают их вот здесь в лесу, и машины грызут землю. И этот обоснуется, начнет грести громадными ковшами руду, известняк, отправлять в свое вечно голодное механическое чрево. Переварит, бросит своим родителям — еще делайте таких, как я? Еще! Нас мало, делайте нас больше! И мы сожрем все, что накопила земля за миллиарды лет. Мы сами есть результат творчества и грабежа человека, значит, мы должны, призваны грабить землю. А ты, Баранов, ты ласкай ее, оберегай ее. Помни: твоя жизнь — только постоянное творчество, ты лишен права грабить. Ограбив сегодня, завтра будешь сидеть голодным!

А он будет грабить и процветать и гордиться награбленным. Думаешь, он на этом остановится? Нет! Он разрастется, он сотрет с лица земли лес, Вязевку, как стер Кедринку. А потом, отвернувшись от ограбленной земли, начнет грабить воздух, реки, океаны...»

Баранов очнулся на рассвете. Он лежал в сенях, входные двери были закрыты. Чувствуя тошноту, боль в голове, добрался кое-как до кровати. И свалился трупом. Ему снились какие-то громадные ковши с острыми зубьями. Колоссальных размеров гусеницы неведомых экскаваторов, которые полчищами подвигались со всех сторон к деревне. Вдруг они взревели, бросились на избы. Хрустели бревна, ковши рыли ямы, сваливали в них раздавленные избы. Бабы, мужики, детишки стояли поодаль на бугре, они плясали, хлопали в ладоши, обнимали друг друга. Полковник бегал между чудовищными машинами и кричал: «Что? Кого? Вы еще узнаете, кто такой Ефимка Сковородников!»

Потом бабы веселой гурьбой пошли куда-то. Экскаваторы исчезли. Где-то запел женский приятный голос. Кто-то звал Баранова по имени, но он прилег на какую-то прохладную синеватую траву, удивился ее запаху. Ему стало хорошо, покойно, и он уснул. Когда открыл глаза, увидел, что вокруг удивительно светло, чисто. Стоят белые койки. Над ним склонилось лицо женщины, он узнал больничного врача Цейхович. Он понял, что находится в больнице.

— Тихо, тихо. Лежите спокойно. Вы больны.

— Как я попал сюда?

— Вас принесли.

— Когда?

— Пять суток назад.

— Вы шутите?

— Нет,— она покачала головой,— с больными я редко шучу.

— Чем я болен? — спросил он.

— Вы истощены. И у вас небольшое нервное потрясение. Теперь, кажется, все прошло. Только лежите спокойно.

Цейхович вышла. Пожилая сестра Осиповна принесла бульон. Она рассказала: в прошлую субботу он весь день не был в правлении. Захаровна из нижнего этажа стучалась к нему. Старуха решила, что он уехал. Но никто не видел, чтобы он уезжал. Ветеринар Соснин и старик Молочков взломали дверь: он лежал на полу без сознания и с ружьем в руках.

— Отощал ты, Алексей Михалыч,— говорила Осиповна.— Столовался бы у кого... Три раза Моисеевна тебе кровь вливала. Господи, что творится на белом свете!

Через три дня Баранова выпустили на волю.

В деревне было тихо. День был солнечный. Серебрилась мелкая рябь на озере. Голова немного кружилась, его слабо покачивало. Полковничиха выпустила к воде свиней. Сама стояла, подоткнув юбку, держала ладонь над глазами, смотрела куда-то за свинарник. Заметив председателя, проследила за ним, покуда он не скрылся в избе.

В избе было прибрано. Пришла Захаровна, постояла в дверях и сказала:

— Алексей Михалыч, вы бы обедать спустились ко мне... Мне продукты выписали... Я готовить вам буду. Ветеринар так сказал.

— Хорошо, Захаровна. Спасибо!

Вечером навестили бригадиры и пришел ветеринар. Коротко доложили о делах, посидели, переглянулись и ушли.

Вечер провел он за столом. Он писал.

Во всем теле была слабость, да он и не чувствовал своего тела, но мыслилось легко, свободно, и перо торопливо набрасывало мысли на бумагу. На следующий день он опять писал. В те дни он как-то отстранился от дел, посматривал на все со стороны. Деревенских поразила весть, что председатель попал в больницу от истощения. При встрече с ним тихо здоровались, потом удивленно смотрели ему вслед. Делами никто не тревожил.

Писал Баранов о том, что узнал здесь. Получалось что-то вроде историко-психологического трактата. Написал он о Пружанове и ввел термин пружановщина. О Сковородникове, о тринадцати председателях, о Моте Раевской. Все, что он узнал, осмыслил, надо вылить на бумагу, вынести на всеобщее обсуждение. Говорить об этом в беседах — толку мало. Разговор останется разговором с одним, десятью, с сотней людей. Слова быстро забываются, смысл их может быть неправильно истолкован. К тому же этот вопрос касается не только его хозяйства, а многих. Мгновенно, одним махом решить вопрос нельзя. За год-два можно прорубить тоннель в горах, построить шахту, завод, ГЭС. Разработать карьер и добыть пуды золота, тонны руды, угля. Но вернуть людям любовь к земле, веру в нее, в свой труд — одним махом невозможно. Гадилось постепенно, так же постепенно нужно выправлять положение. Не нужна громкая кампания, писал он, а надо выправлять спокойно, без громких фраз, обещаний. Ибо обещания приводят к тому, что люди привыкли думать: стоит где-то там сказать слово и все появится. А люди ни на кого надеяться не должны, они должны верить только в себя...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Исписал две тетрадки, перепечатал на машинке и отвез в редакцию новогорской газеты. Домой возвращался удовлетворенным. Казалось, вынул из груди что-то тяжелое, давившее все время и мешавшее дышать. Он предчувствовал наступление какого-то нового периода в работе. Возможно, ему будут возражать о наболевшем, тогда можно будет скорей найти выход из создавшегося положения. Сам он решил, прежде всего, просить у государства долгосрочный кредит. Как больному вливают в организм кровь, так и в деревню нужно влить средства, чтобы она свободней, глубже начала дышать. Надо только обдумать: куда, сколько и как влить.

Редактора газеты я знаю. Он бывал в Кедринске, заглядывал в городок. Мы с ним выпивали на рыбалке. Ему уже за сорок. Когда-то в молодости он писал стихи и, конечно, считал их великолепными. Даже напечатал несколько стихотворений в газете. Потом учился в Москве на курсах редакторов. Толкаясь в редакциях журналов, он понял, что стихи его посредственны. А талант если и есть, то не ахти какой. Что поэтом стать нелегко, нужно много-много работать. А где гарантия удачи?

По окончании курсов он женился. Работал в нескольких районных газетах, потом его направили в Новогорск. Он любит литературу, много читает, собрал солидную библиотеку. Изредка пишет передовицы в свою газету. Печатает под псевдонимом стихи. Раза два-три в год публикует «Записки деда Мазая», в них он крючком сатиры поддевает Марфу Нетудыидущую за клубнику; тракториста Рулькина-Непахавшего за пьянство.

Редактор знает, что газету его читают от случая к случаю. Однажды знакомый его, ездивший по области, привез пачку районных газет. Посмеиваясь, передал их редактору. Содержанием и видом газеты были одинаковы: необычайно серьезны, скучны и однообразны. Казалось, будто выпущены они одной новогорской редакцией. Только какой-то шалун переменил названия их, перетасовал заметки. Редактор посмеялся с товарищем, даже сказал какой-то каламбур. И потом добавил:

— Вы заметили, дорогой мой, что чем бессмысленнее должность, занимаемая человеком, тем больше он желает казаться серьезней? Это людская слабость, и надо мириться с ней! — он весело развел руками.

Редактор понимает, что каждая мелочь, созданная разумом человека, имеет свое одно определенное назначение. В душе он не верит, что газета его несет на своих плечах бремя истинного назначения своего. Хотя бы потому, что каждый выходящий номер совершенно не волнует ни сотрудников, ни его самого. Возможно, газета такая вовсе не нужна людям. Взглянуть глубже, даже вредна как в нравственном, так и в материальном отношении. Ну и что ж... «Не мы одни. Не мы первые, не мы последние».

Получив рукопись Баранова, редактор прочитал первую страничку. Закурил. Я так и вижу: глядя в стену, за которой стучала машинистка, подумал. Затем перечитал страничку, надел очки на свою кругленькую маленькую физиономию, угнездился удобнее в кресле и стал читать дальше. Вечером он принес рукопись домой и еще раз ее перечитал. Если бы он не видел автора, подумал бы, что статья написана каким-то юнцом, впервые окунувшимся с головой в жизнь: в ней было столько искренности, прямоты, сколько человеку с положением и солидному не подобает иметь. Но в то же время статья написана с полным знанием дела. Материал подан скупо, сжато.

Жена редактора тоже прочитала рукопись. И опять я вижу, как она, закурив, бросила свою изящную левую ножку на правую, пустила вверх струю дыма и сказала:

— Да, Дима, черт знает что творится. Что ты думаешь с этим делать? — она кивнула на рукопись.

— Посмотрим...

А спустя два дня редактор сидел в кабинете секретаря райкома Холкова, которого я тоже знаю. Внешне он напоминает Гуркина. Носит он широкие костюмы, когда сидит за столом, члены его тела необычно подвижны, когда он сердится, лицо его краснеет. И в разговоре с людьми, когда вопрос касается чего-нибудь существенного, он всегда произносит одну и ту же фразу:

— Ну хорошо. А вы что предлагаете?

Эта стандартная фраза произносится с различными оттенками в голосе, от чего и зависит смысл ее.

— Он принес один экземпляр? — спросил секретарь.

— Один. Видимо, второй оставил у себя,— сказал редактор.

Оба подумали об одном и том же: если оттолкнуть автора от новогорской газетки, он сунется в область. А то и в Москву пошлет. Поднимется шум. Начнут копаться по всему району. Положим, большого дела не создадут, зачем мусор из избы на людях выметать? Но секретаря тряхнут: он руководит районом шестой год. Где был? Куда смотрел? И главное: по шее-то дадут, но все-то остается по-прежнему! Холков сам ужаснулся, прочитав рукопись. До этого он читал о всяких недостатках. Даже в центральной газете протянули однажды район. Но писалось так, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Казалось, через двадцать лет будут писать точно так же: так-то ржавеют под снегом сеялки, жатки. Урожай картофеля остался под снегом. А ниже сообщается, что вот, мол, у соседа совсем иначе. Этот же идиот собрал все в кучу, сжал время, вывернул все наизнанку... Эх, лет десять назад сунулся бы он со своей писаниной — загнал бы в такую дыру, забыл бы, как ручку брать в руки!

Трудно стало работать. Трудно. Скорей бы на пенсию... Так подумал секретарь и сказал:

— Вот что: придержи это, а там посмотрим... Время покажет...

Как и Ванька Герасимов, каменщик Борцов, начальник Гуркин, Холков придерживается той же политики: в данный момент как-то отвертеться.

Две недели Баранов ждал появления статьи в газете. Не выдержал, явился в редакцию. Редактор принял его как старого знакомого. Усадил в кресло, с любовью смотрел на автора.

— Да, еще не напечатали,— горестно говорил редактор,— видите ли, наша газетка мала. А у вас листа два печатных будет... Почему вы раньше не зашли?

Баранов пожал плечами.

— Я ждал. Со дня на день ждал... Какой же выход? Знаете, это же очень важно! Чрезвычайно важно! Не только в экономическом отношении. Экономика — это уже результат. Последнее время я много думаю над этим вопросом. Ведь то, что мы назвали культом личности, не только уничтожило тысячи грамотных, вполне сознательных людей, имеющих твердые убеждения. Но этот культ оставил после себя массу крупных и мелких чиновников, тупых и пошлых. Он создал десятки тысяч Моть Раевских, сотни тысяч Марусь, их подруг. Но это слишком большой вопрос. И я скажу о наших делах. Ведь что получается: всюду неполадок уйма, а все сидят, молчат. Ждут, когда вызовут в райком да по шапке дадут. Ну я хоть первый начну,— Баранов засмеялся, потер руки, будто ему стало зябко,— хорошо! Сначала о себе сказал, потом соседа какого-нибудь потереблю, он рассердится, да и примчится к вам. Заволнуются все. Хорошо! А то сидят, как сурки...

— Да, да,— улыбался редактор. Он сказал, что на днях собирается в область, похлопочет насчет бумаги, которой нехватка. И постарается напечатать статью.

А в середине декабря Баранова и других председателей вызвали в область. Привез Баранов в деревню новость: обязательные поставки отменены. Колхозу выдали средства на строительство коровника и свинарника. Райком обязал Кедринский стройтрест построить эти помещения.

— А как же статья? — спросил я Баранова.

— Не знаю,— отмахнулся он,— надоело ездить в редакцию. Да и некогда.

— Сколько же колхоз должен теперь государству?

— Четыре с половиной миллиона.

В этот вечер мы засиделись до часа ночи, я предложил Баранову переночевать у меня.

— Нет, нет,— отказался он,— я решил привить себе привычку: где бы ни быть, а спать дома. Иначе разболтаешься...

Он уходит. Слышно, как он говорит что-то жеребцу. Протарахтели колеса. Я ложусь спать. Долго думаю о председателе, о деревне. Потом мысли крутятся вокруг своих забот. У каждого свои заботы, радости и печали. Радостей у меня мало. Началось воровство. Склад плотники устроили за деревней на выгоне, поближе к дороге. Там стоял когда-то сарай, от него остались столбы. Мы сделали крышу и под ней складываем цемент, шифер и прочее — покуда погода сухая, нужно завезти весь материал. В основном воруют шифер, лист которого котируется на черном рынке от семи до десяти рублей. Я купил себе тульскую двустволку, шляюсь с ней по лесу. По несколько раз за ночь хожу к складу. Стою у штабеля кирпича, прислушиваюсь к шорохам. Дни стоят жаркие, безветренные, а ночи прохладные. Начался сенокос. Поблизости не косят, но воздух насыщен запахом увядшего клевера. Смотрю в сторону кедринского зарева, так поразившего когда-то председателя. К утру зарево исчезает. Из оврага ползут сивые облака тумана вдоль деревни. По пояс в тумане иду в избу. А утром замечаю: из крайней стойки шифера изчезли десять листов. В ответ на мои жалобы Аленкин пожимает плечами. Баранов прямо сказал:

— Борис, я ничем не могу помочь. Это твое дело. Мне бы хоть свое добро сохранить.

Докладывал о воровстве Самсонову, он разрешил нанять сторожа. Я оповестил клинцовцев. В деревне четыре мужика: сосед мой, шестидесятилетний Сергей Никандров, попросту дедка Серега, его ровесники — Ваня, Федя, Яша. Никто из них не согласился сторожить. Бабы интересуются:

— Сколько платить будешь, Борис Дмитрич?

— Четыреста рублей в месяц.

Качают головами: деньги хорошие, на дороге их не найдешь. Прикидывают, сколько и чего можно приобрести за эти деньги в магазине. Решились сторожить Мотя Раевская и ее соседка старуха Васьчиха. Приходят ко мне вечером в избу. Васьчиха останавливается у порога, как-то испуганно смотрит на меня. Мотя решительно подходит к столу, ударяет по нему ладонью.

— Идем сторожить к тебе, Борис, только без обману?

— Какой может быть обман, Мотя?

— Все по закону?

— По закону.

— Сегодня и приступать?

— Приступайте...

Но через три дня приходится уволить сторожей: разгоняя свой страх громкими разговорами, песнями, они бродят вокруг склада только до рассвета. Спешат топить печи, справляться с хозяйством. Утром третьего дня я недосчитался пятнадцати листов шифера.

— Вы должны быть у склада до семи часов утра. Ну хотя бы до шести. Ровно в шесть я к вам буду приходить и тогда расходитесь.

— Не можем. Лучше уж уволь нас, Борис Дмитрич, и денег твоих не надо. Сколько страху-то натерпелись!

Деревенские смеются мне в лицо:

— Борис Дмитрич, ты бы ружо им дал! Как же это Васьчиха без ружья!

Выручил дедка Серега, который часто заходит к Сергеевне. То в хлеву чтонибудь поправит, то в избе. Работает он конюхом, несколько раз за ночь ходит на конюшню. Он высок, сутул, но еще крепок.

— Дедко, возьмись ты сторожить,— прошу его,— тебе, что, деньги не нужны?

Он улыбается:

— Ишь ты, Борис, как рассуждаешь. А подумай о другом: ты-то уедешь, а я останусь. Он-то (вор) память будет иметь, ай нет?

Договорились: сам дедко ловить вора не будет. Как заметит его, скажет мне, и я расправлюсь с ним. Воровство моментально прекратилось. Все пометки, которые делаю химическим карандашом на листах, на кирпичах, вижу каждое утро. Дедко Серега стал чаще заходить в избу вечерком, и мы с ним беседуем. Особенно оживленно и долго протекает беседа, когда старик маленько загуляет.

— Что ты все пишешь? — заявляет он, вырастая в дверях, весело улыбаясь маленькими глазками.— Полно кляузами заниматься! Идем выпьем да побеседуем. Разругался я нынче со своей старухой,— он отчаянно машет рукой,— ну их всех, Дмитрич, мы одни с тобой можем понимать разговор! Танька,— кричит он Сергеевне,— готовь нам закуску! У нас есть вот тут! — он вынимает из кармана бутылку водки.— Пошевеливайся, шевелись, старуха!

И дедко пытается ущипнуть хозяйку за бок.

— Ох ты, идол,— укоряет его Сергеевна, кивая головой и улыбаясь,— уж пора бы забыть такие повадки!

— Это ж почему нам забывать такие повадки, а? Я еще в Тутошино сходить думаю...

До укрупнения колхозов дедко был председателем Клинцовской артели. Часто вспоминает о своей работе.

— ...Теперь-то председателю дивья! — рассуждает он.— Теперь ему что! Живи да и только.

— Чем же ему лучше теперь?

— Да как же ты спрашиваешь об таком, Боренька, нонче совсем другое. Меня, бывало, вызовут в район: «Тудыть твою мать, кулацкая душа, чтоб было сделано!» Да кулаком по столу, да грозят тюрьмой. Ну, вернешься сюда и гоняешь народ без роздыху. Ну и делали, баловства никакого, хоть и не получали ничего за работу... Встану чуть свет, выйду с избы: глядь в один конец — крайняя Федина изба видна, гляжу в другой — изба Дарьи на прицеле. И все у меня на виду, и все меня видят. Все я знал! И в грамоте разбирался. Сколько надо соток отмерять, могу мигом обмерять сено, пойдем, гляну на стожок

и хоть на пуды, хоть на центнеры тотчас переведу. Документы вел согласно закону. И до тонкостей знал, где, какое сено, кому сколько надо, чтоб без обиды... А теперь что? Председатель ездит по бригадам командиром, бригадирам дает задания и едет то на совещанию, то еще куда. Да все торопится, спешит. И наторопился: у кого изба тесом обшита? У кого покрашена краской масляной? Вот ты приезжий, скажи мне, у кого? У Ваньки. А у меня как было? Танька! — кричит он.

— Чего, старый, шумишь? Помолчи-то! — отвечает из своей комнаты Сергеевна.

— Ответь вот для него, для Дмитрича, брал ли я хоть клок сена тайком для своего хозяйства?

— Да полно тебе, угомонись!

— Нет, ты ответь, карга старая! Ответь как перед судом!

Сергеевна вдруг решительно входит в комнату и говорит, будто кланяясь:

— Да уж правда, Боренька, уж этого никогда не случалось! И сам-то выйдет на пожню и косит с нами. А чтоб взял чего, этого и понятия не имел.

Толстые сизые губы старика изображают в это время букву О, глаза его смотрят в потолок.

— А у Ваньки своя политика,— продолжает он,— к Дарене таскался по ночам, и у той до самого лета чердак клевером забит. Мы все знаем! Вот он и грамотный, и слово скажет, какое нужно. А я начну, бывало, там выкладывать обстоятельно, без архивов, смеются. А потом: «Что ты мелешь? Ты давай процент! Ты темный, ты неграмотный!» Ну вот он и грамотный: в прошлом годе ссыпали зерно в амбаре, а оно сгорело.

— Почему же?

— Пол был гнилой, просел под тяжестью. От земли сырь пошла...

— Что ж, не видели, что пол гнилой?

— Так ведь бригадир всему указ.

— Ну ты-то видел, дедко? Скажи мне — знал?

— Видеть не видел, знать не знал. А я бы на гнилой пол не ссыпал бы.

— Сказал бы об этом?

— Бригадир должон знать! — ударяет он кулаком по лавке.— Бригадир — знай! Дай наряд, пошли человека лес заготовить. Запиши все это, оплати. Так-то. Не хочешь смотреть, не желаешь быть хозяином, а мечтаешь начальствовать — начальствуй. Но и с других не спросишь хозяйственности. Раз ему укажи, другой — он губы развесит, до смерти начальствовать будет. Да еще за указание обидится. Вот как. А я тебе, Дмитрич, расскажу старую сказку... В давние времена жил один мужик. И вот сидел он однажды на лавочке перед избой со своим сынком. Сынок в годах был, хорош собой, и матушка над ним все охала, ахала, не знала, чем накормить, как от неведомых напастей сохранить. К вечеру дело шло. И едут через деревню купцы. Тогда еще купцы были. Мужик и говорит сыну: «Пойди-ка, сынок, узнай, с чем едут купцы». Побежал сын, приносит известию: везут-де гречиху да овес. «А по какой же стоимости они продают?» — «Не знаю,— отвечает сынок,— я не спросил».— «Ну так побеги, спроси».

Побежал сын. А купцы уж за деревню выехали, по лесу едут. Смеркаться стало. В те времена бога почитали, чертей боялись. «Гречиха по рублю пуд, овес по четвертаку»,— приносит сынок известию. А сам запыхался, язык на боку, от страхов лесных глаза на лоб лезут. «Как же они продают: оптом, либо наразвес можно купить?» — «Не знаю, я не спросил».— «Ну так беги спроси. Беги».

А купцы-то уже верст пять проехали...

Старик хитро ухмыляется, шарит в карманах закурить, не находит, берет у меня папироску.

— Вот так-то бегал, бегал сынок. Взмок. От страхов зуб на зуб не попадает. А в следующий раз уж знал, о чем надо справиться у купцов... Вот оно как, Дмитрич, смекаешь? А ты: «Чего не сказал?» Обо всем разве скажешь? Вот и Федя Стойков, он член ревизионной комиссии. Много чего знает Федя! Много! И документ может представить при надобности. А сидит Федя и молчит. Почему? Да потому, что надо сейчас Феде лошадь, бери да езжай, надо лесу,

иди да руби. А попробуй Федя побуянить насчет правды — шалишь, ничего Феде не будет...

— А председателю теперь дивья,— продолжает дедко, помолчав,— деньги вот дают на постройку, корма присылают. А что толку? Хозяйство в долгу, как в шелку. А два года назад вышла как-то заминка, кормов не прислали, за одну весну половину коров под нож пустили. Куда это годится? И поделом: не потакай, не нянчись, но и не указывай, каким манером детей зачинать. Вот оно что бы я сказал начальству... А то вот получилось: колхоз должен государству пять мильонов. Пять мильонов! Шутка сказать! А где они? У меня? У ней, у Таньки? У Моти? В колхозе? Нигде нету. И спросить не с кого. С Баранова? Он недавно приехал, одно время был замотавши, что чуть с голоду не помер, чужую кровь ему дополняли.

— Ты же говоришь, что председателю теперь дивья?

Тут старик вскакивает, хватает ртом воздух, будто задыхается. Начинает кричать о каких-то телегах, о болотах с пеньками, без пеньков, о сенокосах с выездами, без выездов. Я не понимаю его, но молча слушаю, покуда не приходит его жена Аннушка. Худая, лицом похожая на Акиньевну, она заходит в избу с улыбочкой. Быстро по-мышиному осматривает всех. Некоторое время, продолжая улыбаться загадочной улыбкой, смотрит на мужа.

— Ну полно, полно, пора и честь знать,— говорит она,— свою избу остудил совсем. Идем домой...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

А чуть свет старик является в избу. Спать ложусь я поздно, утром спать охота — нет мочи. Он лезет холодной рукой под одеяло, трясет меня за ногу, ворчит, улыбаясь:

— Все самые ленивые девки давно уж поднялись, а начальник спит... Спит начальник...

Какого черта ему надо?.. Зачем поднимает в такую рань? Ах, дьявол старый!

Я сажусь. Покуда одеваюсь, выслушиваю чрезвычайные новости: бабы уехали сегодня к Дальнему бору, всех лошадей он пригнал из лесу, только один жеребенок запропастился... Высокие голеница сапог старика влажны, холодны. От него пахнет лошадьми, травой, лесом. Вскоре иду через деревню к лесу, потом по ржаному полю. Утром колосья ржи покрыты росой, и похоже, будто они затянуты паутиной. Там и здесь вдруг паутина исчезает, и темные полосы устремляются к лесу — это убегают зайцы. После купанья в озере пью молоко. Потом начинается то, что называют рабочим днем. Весь день я занят, времени мне не хватает, но к концу дня, уставший, я не испытываю никакого удовлетворения. От свинарника спешу к пилораме. К полдню попадаю в Заветы, затем иду в лес. Летом заготовляют бревна здесь только остолопы: лошадью их нужно вытащить за ручей и болотце к Делянинову холму. Только сюда может добраться трактор. Нужно достать лошадь. А она вчера была, а сегодня на ней какой-то дядя Матвей уехал за сеном. Приходится отыскивать другую. Потом опять иду в Вязевку, звоню в контору. Нужно как бы невзначай нагрянуть к чикинцам, чтобы они не подумали: «Ага, ушел с утра, до вечера его не будет, можно что-нибудь предпринять...»

Предпринять же они могут что угодно и даже самое невероятное.

В Тутошино живет с матерью придурковатая девятнадцатилетняя девица Клава. Природа наградила ее красотой, стройностью Молдаванки. При желании парни подпаивают ее, насилуют в лесу. Однажды она набрела на свинарник. В истрепанной юбочке, измазанной малиной, и босая, она походила вокруг чикинцев, посматривая на них. Те принесли из магазина вина, пряников. Увели дурочку за овраг, где никто не бывает, бегали туда по очереди. На следующий день она опять пришла.

— Боря,— говорит мне Сергеевна утром воскресного дня,— угомонил бы ты своих разбойников.

— В чем дело, Сергеевна?

Будто не знаешь?..

Собираю чикинцев в избе. Они усаживаются на лавке, на полу, принимают беспечные позы. Худой, серолицый Шевырев — тайный и хитрый зачинщик проказ — косится на меня. Смотрит в окно. Я знаю, к чему они приготовились,— к ругани. Я прочитал на их лицах, не знающих детства, беспечность, равнодушие ко всему на свете и к самим себе. Такое равнодушие часто видят судьи. «Будь что будет»,— говорят эти лица. Да, вот такими они бы сидели сейчас и на скамье подсудимых.

— Ребята,— сказал я, и голос мой дрогнул.

Я мало узнал от хозяйки о Клаве. И я говорю что-то вообще о жизни, о семье. О том, что ждет эту девушку в будущем, и о пьяном цыгане, зачавшем ее. Я сам путаюсь в своих рассуждениях. И когда кончаю, дрожащими пальцами достаю папиросу, на меня смотрят удивленные и даже расстроенные лица. Я выхожу на улицу. Вот изба Дарьи. Сворачиваю. Войченко сидит за столом, перед ним закуска и вдова.

— Вон! Вон отсюда, сволочь! — кричу я.— И если не уйдешь, я подам на тебя в суд. Слышишь?

Пьяный от возбуждения, я иду к себе в избу, беру ружье. Долго брожу по лесу. На берегу болотца расстрелял с пятнадцати шагов спичечный коробок. И особенно приятны были тяжесть оружия, гром выстрелов и фонтан грязи, взбитый пулей, которой был заряжен последний патрон, лежавший всегда отдельно от других в боковом кармане. В сумерках подхожу к деревне. На дороге замечаю Полковника, он что-то несет в руках, плюется во все стороны и рассуждает сам с собой. Он пьян.

— Привет Полковнику,— кричу я почему-то весело,— куда мотор завел?

Он подошел. Осторожно приглядывается.

— А-а! Строителям привет! Нужда мотором крутит, Дмитрич, не возьмешь? За десятку отдам.

В корзинке под травой громадная щука. Я забираю ее. В избе ожидает меня дедко Серега: сидит на лавке, и покуда я мою руки, ужинаю, молча и подозрительно посматривает на меня.

— Какие новости, дедко?

Он качнулся.

— Беда, Дмитрич...

— Что такое?

— Воры придут...

— Когда?

— Ночью нынче.

— Кто ж это?

— Не знаю.

— С чего ж ты взял?

— Известно. Едри их мать. Будут сегодня, Боря...

Мне кажется, старик по каким-то особым причинам не желает сообщать, откуда к нему поступила такая информация. Ну и пусть не говорит. Это его дело. Договариваемся: чтобы не вспугнуть воров, окна в моей комнате будут светиться, как обычно, допоздна. Я лягу спать, потом через хлев, огородами проберусь к складу... И в начале второго я уже у склада. Ружье заряжено холостыми патронами. Воры угадали ночь: на небе ни звезд, ни луны. Хорошо хоть ветра нет. Где-то потявкала собака. Собак здесь в деревнях мало, зимой их поедают волки. Зарево от огней Кедринска кажется сегодня особенно ярким. Чу! Нет, это просто показалось. Закурить бы. Сколько я буду сидеть в этой деревне... Инженер Картавин стоит на страже социалистической собственности. Приклад к ноге. Вот так... Не работа, а черт знает что. Пилорама совсем почти не работает. В каком-то «Красном пахаре» установили новую мощную пилораму, когда она работает, забирает всю энергию. Надо сходить в этот колхоз, договориться, чтобы работать по очереди. Эти переходы отнимают столько времени. А время, выработка рабочих — это деньги. Выработка и деньги. План. Ха-ха! Мне тоже дали план, для проформы. Везде должен быть план, хотя бы липовый. Какой дадут фонд зарплаты? Если не выйдет по тридцать рублей по кругу, брошу все и уйду. Рабочие не виновны. Черт возьми,

сапоги уже разбились. Вторая пара... Я приседаю, взвожу курки. Две тени промелькнули со стороны леса. Одна маленькая, другая побольше. Вот они. Маленькая тень взяла лист шифера, второй. Исчезает в сторону леса. Вторая стоит и не шевелится. На секунду закрываю глаза, огненный столб из двух стволов разрывает темноту. Под моим телом фигурка обмякла, как травинка. Не чувствуя никакого сопротивления, выворачиваю руку, веду пленника в избу...

Сергеевна стоит в дверях, я сижу на скамейке, дедко Серега у порога. Возле печи стоит человек. Он в фуфайке в сапогах; из-под шапки выбились светлые волосы и косички. Это девушка. Она бледна до зелени. Она вся дрожит и прижала руки к груди. Мне даже неловко, помял я ее изрядно. Целы ли хоть руки у нее?

— Катька, да как же ты решилась ночью-то? — глаза Сергеевны выражают неподдельный ужас. Она крестится.— И пошла ночью, глупая! Из Тутошина не побоялась итить?

Я должен быть строгим.

— Отвечай, кто с тобой был?

— Катька, скажи все,— советует Сергеевна,— начальник добрый, расскажи все, и он простит.

У девушки вдруг закатываются глаза. Вскрикнув, она падает на колени:

— Матушка! Ма-а-ту-у-шка! Родная моя! Не виновата я, Гришчиха! Не виновата!

Я боюсь, как бы с ней чего не случилось. Втроем успокаиваем девушку. Вливаю ей воды между дрожащих белых губ. Таких белых губ я никогда не видел. Сергеевна уводит девушку к себе, успокаивает ее...

Она и в самом деле не виновна. Еще при Окуневе ходила с дядей Витей к свинарнику. Брали и цемент, и кирпич, и шифер. Окунев часто пил водку у дяди Вити, разрешал ему ночью брать материал.

— Он говорил, чтоб только деревенские не видели...

— С кем ты была сегодня?

— С братеней Васькой.

— Дядя Витя послал?

— Да... Нет... Сегодня нет. Сегодня он уехавши в Новогорск. Он говорил, что ему не хватает на крышу шиферу. Мы с Васькой пошли сами.

— А до этого с кем ходила?

— С дядей Витей. Он говорил, что вы все знаете и бояться нечего...

Уходим с ней на выгон.

— Васька! Васька! — зовет девушка.— Васька, иди сюда! Иди, лядящий!

Маленькая фигурка выплывает из темноты. Освещаю фонариком пухлую ребячью физиономию.

— Принесите шифер на место. И чтоб больше ни шагу сюда...

На другой день Баранов, я, ветеринар Соснин — он же секретарь партийной организации — едем верхами в Тутошино. Председатель и Соснин в седлах. Подо мной костлявая спина старого мерина с разбитыми ногами и шеей. Он целыми днями бродит вокруг деревни, и Полковник поймал его мне к случаю.

— Не ожидал, не ожидал от Бахмачева,— говорит Баранов,— хороший тракторист и вот тебе...

Местные жители все белобрысы или рыжеваты. Полных здесь нет. Полненькие только взрослые девушки и молодые женщины, которые чем старше, тем становятся суше и суше. Бахмачев явно не из местных: прямые жесткие волосы, косой разрез темных глаз, короткая могучая шея. Мы спешиваемся у его калитки, он что-то работает топором. Вгоняет топор в бревно, угрюмо наблюдает за нами.

— Принимай гостей, Виктор Николаич. Приглашай в избу.

— Не ждал гостей в такую рань. Заходите.

— Ждала не ждала, а дала — мужа не вспоминай,— шутит Соснин.

В избе никого нет. Рассаживаемся за столом. Бахмачев сел в сторонке.

— В город, что ли, собрались? — говорит он.

— Вот что, Виктор Николаевич,— Соснин закурил,— остановка у нас

вышла на свинарнике — материалу не хватает. Пришли к тебе за помощью... Постой, постой... Я вот их уговорил не обращаться в милицию пока. По-хорошему решим давай: ты нам все отдашь, мы отблагодарим тебя при народе по всей форме — и квиты. Для пояснения: Катьку с братишкой вчера захватили на складе.

— А я при чем тут? — тракторист встал.— Чего вы хотите?

— Отвечай сразу: вертаешь все сам или милицию вызывать?..

Через полчаса возле избы Бахмачева собралась толпа, к ней подходят новые лица.

— Помер, что ли, кто?

— Где горит-то?

— Витю курочат...

Четверо парней выносят со двора мешки с цементом, шифер, кирпич, стекло.

Вскоре три груженые подводы тянутся в Клинцы...

Вечером я сижу за столом в горнице. Передо мной чистые бланки нарядов. Только для сторожа наряд готов. Для него все просто: пятнадцать шестьдесят умножить на двадцать четыре рабочих дня.

Старик молча сидит на лавке, на лице его важность, он оправдал свою должность.

— Вот здесь распишись, дедко!

— Где?

— Вот здесь. Вот...

Пальцы его корявы, не гнутся, покрыты черными морщинками. Он рисует что-то похожее на воробья.

— А я-то сомневавшись был насчет вора, Дмитрич,— говорит он, кладя ручку.

— Почему сомневался?

— Да иду мимо повертки, слышу, в малиннике толкуют про шифер, про склад наш. Я в кусты, а неизвестные бежать от меня. И будто не мужики бежали. А она и вышла проверка в самую точку... Что ж, делом будешь заниматься?

— Да, дедко, надо...

Он уходит. В журнал работ мне не нужно смотреть. Я прекрасно знаю, что сделано и что делают рабочие. Да и не в этом дело, а в том, что мне надо выдумать какие-то работы, которые якобы сделаны. Конец месяца, и рабочие уже толкуют: по сколько мастер выведет?

Чикинцы, как я уяснил, понятия не имеют о фонде зарплаты, о расценках. Они считают, сколько дней работали «дотемна». Толкуют о воде, появившейся в жижесборнике, и как они, по колено в грязи, выбрасывали эту грязь ведрами... По тому, как они уставали, они считают, что заработок должен быть приличным.

— Меньше тридцати пяти не должно быть,— толкует Чикарев,— а валун попался тогда, сколько возились с ним?..

Кстати, об этих валунах. Их здесь много разбросано природой па полянах, в лесу. Прихожу однажды среди дня к свинарнику. Чикинцы перекуривали, о чем-то спорили. Увидев меня, смолкли. Я присел, закурил.

— Борис Дмитрич,— спросил Чикарев,— откуда эти камни берутся?

— Валуны? А ты не знаешь?

— Да вот Швыря говорит, что они растут как вроде картошки.

Я посмотрел на него: ни тени улыбки на лице.

— Ты с чего взял такое, Шевырев?

— Слышал где-то,— ответил тот беспечно.

Я рассказал им о происхождении валунов. Слушали внимательно. После того разговора в избе и изгнания отсюда Войченки они стали внимательней к моим словам. Интересовались мной не только как начальником, но и как человеком.

— Вы правда в институте учились и закончили его?

— Правда.

Молчание.

— А чего же вы здесь с нами, а не в городе?..

Из них только один Двояков не побывал в колонии и острых столкновений с милицией не имел.

Он откуда-то из Владимирской области. Родители его умерли. Повинуясь общему стремлению — уйти в город, мальчишкой он удрал из деревни. Скитался по стране. Побывал в детских домах, нигде не прижился. Наконец попал в Ленинград и с помощью милиции очутился в Кедринске. Он задумчив. Иногда, кажется, он хочет о чем-то спросить, да не решается. Я предложил чикинцам выбрать его бригадиром, те согласились. В тот же день, когда говорили о валунах, Двояков задал неожиданный вопрос:

— А вот скажите: Ленин был умный?

— Конечно, умный.— Я мельком взглянул на него.

— Я не про то... Как бы это... Он учился?

— Учился. И хорошо учился.

— Ну вот он умный был, а если б не учился, он все равно был умным, остался и был бы таким?

Вот оно что! В этой крупной голове, покрытой курчавыми рыжеватыми волосами, копошатся мысли, сводившие в прошлом с ума изобретателей вечных двигателей, базарных мыслителей, странников: если человек от рождения умен, ему образование не нужно, он своим умом до всего дойдет. Я толковал Двоякову, что такое ум, что такое знания.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В Заветах рабочие старше чикинцев. Есть там пожилой землекоп-бетонщик Кирьянов. Он слывет знатоком финансовой стороны дела, наизусть знает расценки многих видов работ. Он рассказывает товарищам, что вырабатывают они крайне мало в этих условиях.

— Теперь все от фонду зависит,— распространяется он,— да от мастера,— как он сумеет извернуться. Но заплатят! Иначе нельзя. Иначе мы все снимемся и уйдем отсюда. Мастер выведет. А нет, пойдем к Гуркину. Он не поможет, мы к управляющему. А управляющий мужик крутой, начальников гоняет из кабинета как мальчишек. Он Гуркину по шее, Гуркин мастеру... А зачем им это все? Выведут!

И я вывожу. Особенной изворотливости здесь не требуется. Фонд мне еще не известен. Я кладу на человека тридцать рублей в день, вывожу общую сумму. Затем начинается самое отвратительное: обосновываю сумму, делаю описание «выполненных» работ. Пишу я черт знает что, по возможности близкое к возможной действительности. Если б то, что описываю, было сделано, свинарник давно бы готов был. Немудрено, что настроение у меня падает. В сущности, я жулик, ворую у кого-то деньги. А раз я ворую, то, мысленно оглянувшись, думаю, что и все вот так воруют, то есть обкрадывают сами себя. Все правовые, социальные институты кажутся мне фикцией, нужной теоретикам.

Я разговаривал по этому вопросу с главным инженером. Он сказал: «Трудности есть во всяком деле, а у строителей их особенно много». Но что такое трудности? Они могут быть и у человека умного, и у дурака, и у ребенка. У целой компании людей, не умеющих работать, мало знающих, мало думающих от неумения думать или нежелания. Поди тут разберись! И каждый норовит выставить щит с подписью: «Трудности». И копошится за этим щитом...

А в избе тихо-тихо. Окна открыты, но все равно душно. Земля насытилась за день теплом солнца, теперь отдает его воздуху. И ползет в окно странный, сладкий какой-то ночной воздух сенокосного времени. Сергеевна поворачиваясь во сне, застонала. Что-то шепчет. С сенокоса она возвращается поздно. Управится с хозяйством, подолгу молится, стоя на коленях перед иконой, часто отвешивает поклоны, да через раз — со стуком лба об пол. И шепчет:

— Не сожги, не погуби, отгони, господи...

Просит у бога здоровья дочери, внучку, корове, телушке. Просит не отнимать у нее силу. А если заберет, пусть уже и смерть присылает...

За день Сергеевна устает, но до молитвы держится бодро. Помолившись, вся слабеет. Кряхтя, охая поднимается с колен и ложится спать. Спит неспокойно. То и дело вскрикивает, шепчет. Вдруг приснится, будто телушка подавилась картошкой: лежит телушка на поле у картофельного бурта, сучит ногами по земле, глаза закатила. А она бегает вокруг, кличет мужиков, но поблизости ни души. А то снится ей: хватает она сено из какой-то дыры, бросает его охапками за изгородь. Ей жарко, труха забивает глаза, лезет под кофту. Голос покойного мужа кричит оттуда: «Скорей, скорей, Танька, ужо постановление выйдет!» И она, чувствуя, что силы кончаются, хватает охапку побольше, но сено горой валится на нее, придавливает. Смерть. Вскрикнув, Сергеевна просыпается. Проводит ладонью по лицу. Чувствует на пальцах что-то липкое, теплое. Сунув руку под подушку, достает скомканную, хрустящую и в темных пятнах тряпицу. Шепча: «Господи, ох, господи, опять пошла», утирает кровь.

— Боренька, ты не спишь еще? — слышу я ее голос.

— Нет, Сергеевна.

Она шаркает босыми ногами по полу за моей спиной. Черпает ковшом холодную воду из ведра. Жадно пьет. Крестясь и причитая, проходит обратно к постели.

— Ложись, Боря, полно глаза-то портить, завтра день будет.

Она жалеет меня! Зубы мои стискиваются. Я хватаю ручку и быстро чиркаю по нарядам, почти не думая. На следующий день сижу в конторе перед нормировщицей, которая проверяет расценки. В описаниях работ она замечает лишь две неточности. Потом наряды несут на подпись к главному. Главный смотрит на итоговую цифру, сравнив ее с цифрой, означающей выделенный мне фонд, пишет: «Утверждаю». Затем наряды попадают в бухгалтерию. Через неделю рабочие получают зарплату. Дорога держится, и кассир Машенька приезжает на машине. Я встречаю их на дороге, вначале едем в Заветы. Рабочие здесь всех возрастов, живут все в одной громадной избе, построенной еще во время войны военными. Не успеют все получить деньги, а ходоки уж возвращаются из магазина. Во дворе потрошат поросенка. Различность возрастов создает ту веселую атмосферу, когда старик становится ребенком, мальчишка старается быть важным.

С машиной что-то случилось, шофер копошится в моторе, и мы задерживаемся.

— Борис, маленько с нами,— приглашает Кирьянов.

— Машенька, Машенька, пожалуйста, вот сюда... И никаких, никаких... Все общество наше вас просит. Смотри, какие ребята!..

Я выпиваю стакан водки, слушаю о том, как свалили громадную ель, как она чуть было не убила Федосеева. Сегодня дважды завяз в трясине трактор. Сегодня заготовили кубометров восемь, не больше. Двадцатипятилетний плотник Федосеев, рослый, сильный и красивый, подсаживается ко мне. Он говорит, что два года не был в отпуске, надо съездить домой в деревню. «Ну, так пиши заявление»,— говорю я. «Да вы напишите, вам ничего не стоит написать».— «А самому лень, что ли?» — «Да я не знаю, как писать».— «Не болтай,— говорю я,— сядь и напиши. Вот тебе ручка, вот бумага».— «Не пишите, не пишите ему, пусть сам!» Плотники хохочут. «Да в чем дело?» — спрашиваю я. «Он не умеет писать».— «Верно, Борис Дмитрич, я неграмотный».— «Он в одном только грамотный: у Моти Сидоркиной расписывается по ночам!» Хохот. «Уже так расписывается, что она обед ему приносит. Сегодня в лес приносила, а он расписался под кустом.» «Тише вы, здесь девушка».— «Машенька, ты бы к нам чаще ездила со своей сумкой...»

Я прошу Федосеева сесть рядом. Он родом из Тамбовской области, до войны в школу не ходил, пас скот. Потом наступила война и уж совсем было не до ученья. А после ему стыдно было говорить людям, что он неграмотный, и никому не говорил. Читать научился сам кое-как, буквы знает. Но пишет очень плохо. А в армии служил? Служил. Там, когда нужно, ребята за меня писали...

Вот еще один экземпляр, думаю я, ну и здоров, черт возьми. «И везде удавалось скрыть свою неграмотность?» — «Везде, ха-ха-ха! Везде, Борис Дмитрич! Я стыдился, дурак. А теперь, вот когда некуда деться, и стыд пропал...»

— Машина готова, можно ехать,— говорит вошедший шофер,— а то ночь застанет в дороге.

Мы едем в Клинцы, где чикинцы ждут нас с нетерпением. Получив деньги, они спешат в магазин. Вечером я из деревни ни шагу. Чикинцы и девчата танцуют возле амбара под гармошку. Я стою среди них, потом иду к себе и постоянно прислушиваюсь — не доносится ли шум драки? У каждого из них имеется пика — остро отточенный медицинский скальпель, либо стальная пластинка. Оружие свое они тщательно скрывают от меня, божатся, клянутся, что у них ничего нет. Как это ни странно, но между деревенскими ребятами и чикинцами существует скрытая вражда. Здесь живет легенда о жестокой драке, случившейся три года назад, когда впервые приехали строители в Тутошино. Завязалась драка из-за девчат. Молодежь окружающих деревенек объединилась. Дрались камнями, топорами, свинчатками. Захватывали пленных, выкупали, обменивались ими. Генеральное сражение произошло на берегу озера. Закончилось оно убийством одного из деревенских, нагрянула новогорская милиция, кое-как навела порядок.

Звуки гармошки на некоторое время затихают. Вот слышен говор, смех; кто-то затянул песню. Гурьбой чикинцы проходят под окном, они направились в Тутошино...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Приходит очередное воскресенье. Я колю во дворе дрова, складываю их в поленницу.

— Фють, фють,— раздается свист за моей спиной.

Оглядываюсь — Маердсон. Он в белой рубашке, в светлых брюках, скалит в улыбке свои белые ровные зубы. От неожиданности я даже краснею немного.

— Жора, ты как сюда попал?

— Кончай крестьянствовать, пошли на озеро. Все наши приехали, новогорские. Народу тьма. Девчата тоже там, меня за тобой погнали.

Я давно не видел друзей, спрашиваю, как дела.

— Что дела, дела идут, никуда не денутся,— отмахивается Маердсон,— на берегу там одна, откуда она приехала, понятия не имею... Попа, грудь, а глаза — м-м,— стонет он, закатывая глаза,— все отдал бы, и мало было б...

В кустах стоят машины, а весь этот берег усеян людьми. Новогорский горторг здесь, еще какие-то организации. Вот наш трест. Здравствуйте. Привет колхознику! Картавин, приехали к тебе в гости! Вон Жиронкина. Она знает, что у нее фигура великолепна, даже в общежитии любит как бы случайно и вскрикнув мелькнуть перед мужским глазом полуобнаженной. Она где-то успела загореть. В стороне от всех прохаживается у самой воды. Трусики уж больно узки. «Привет, Рита!» — «Ой, колхозничек, какой ты стал! Девчонки, посмотрите на него, он черный, как негр!» — «Здравствуй, Козловская, Машенька. Здравствуй. Эй ты, библиотекарь, здоров!» Латков отрывается от книги, подает руку.

— Скотоводу привет.

Девчата тарахтят. Без одежды Козловская кажется особенно худенькой, стройной, как девочка, и непохоже, что она побывала замужем, вот только морщинки у глаз. В такой обстановке мы никогда не встречались. Все они мне кажутся немного другими, чуть-чуть незнакомыми. Алябьева, всегда ласковая со всеми, добрая, уже возится в сумках.

— Борис, на гостинец,— говорит она.

— Яблоко? Бог ты мой, сто лет не ел яблок!

— Это болгарское.

— Господи, кто это, ребята? — Козловская даже присаживается на корточки, с ужасом смотрит на заведующего Новогорским горторгом Бугача.

Громадный, заплывший жиром. Вывалив над трусами брюхо, он движется косолапо у самой воды, вдруг валится в нее, барахтается, поднимая волны. И страшно, дико рычит от удовольствия. А над резвящимися горторговскими женщинами возвышается розовая колонна жира — продавщица из продуктового магазина. Она стоит неподвижно, уперев одну руку в бок, другой подносит что-то ко рту и лениво жует. Стайка ребятишек задержалась позади нее, изумленными глазенками смотрят на диво. Полковник, успев уже продать приезжим рыбакам рыбу, натолкнулся на колонну, огибая ее, несколько раз оборачивается.

— Полковник, нет ли рыбы? — кричу я.

Он подбегает семеня. Присел и осклабился.

— Кто это такая, Борис? Едрить твою в доску, ее надо под ястребцовского жеребца подпустить!

Все искупались, девчата организовали закуску.

— Где же Мазин? — удивляюсь я.

— Он совсем испортился,— говорит Алябьева,— совсем.

— Он на другом фронте,— подсказывает Латков.

— И с кем спутался! — Маша подает мне бутерброд.— А слушать о ней ничего не хочет.

— Кто она?

— А, не стоит говорить. Везет же таким бабам! С Груздевым жила, с шофером из а-тэ-ка жила. Да всех не пересчитаешь. И вот Петька втюрился. Глупо.

— Черезов приехал,— сообщает Латков.

— Николай? Когда? Он мне ничего не писал. Как он?

— Плохо.

— Он не ходит,— сказала Рита,— все-таки что-то с позвоночником. Ездит в коляске. Его санитар привез.

— Жалко парня. Он красивый. Все девки наши были влюблены в него.

Так, так... Сегодня уеду в Кедринск, думаю я.

— Я был у него,— говорит Латков,— держится ничего, бодро. Говорит, что через год, полтора встанет на ноги. Врачи ему так сказали.

— Врачи все врут. В таких случаях они всегда врут. Человек ждет, ждет, потом свыкается со своим положением и живет. Для этого и врут.

— Я бы покончил с собой,— заявляет Маердсон.

— Полюбуйтесь,— говорит Латков. Он указывает глазами на компанию, где сидит управляющий. Худое тело старика нашего бело, он в длинных трусах. Перед ним крутится, то приседая, то вскакивая, умильно улыбаясь, начальник отдела труда и зарплаты Позднышев.

— Сволочь,— Латков морщится и отворачивается.

Этот Позднышев бездельничает целыми днями в своем кабинете. Когда к нему приходит с вопросом рабочий, он поджимает губы, сводит брови. Откидывается на стуле и сурово спрашивает:

— Ну, что у вас?

А когда его вызывает начальство, его будто током бьет. Мельком смотрится в зеркальце, которое носит в кармане. И к начальнику входит на цыпочках. Черт знает что!

— Мальчики, я хочу малины.

— Сейчас пойдем, Рита.

Потом мы идем в лес, в густой малинник.

— А медведи здесь есть, Борис? — Рита рядом со мной.

— Есть. Много. Они страшно злые.

— Ой, смотри, сколько малины! Иди сюда...

«В какой я деревне живу».— «Близко?» — «Рядом».— «Ты в избе живешь? Можно посмотреть твое жилище?» — «Конечно. Пойдем».— «Это не очень далеко?» — «Да нет же, вот здесь за дорогой, там овраг, ручей и деревня. Хозяйка одинока, и сегодня она на сенокосе».— «Она молода?» — «Очень. Ей шестьдесят лет».— «Ха-ха! Ты скучал здесь? Правда, скучал?» — «Сюда, сюда сворачивай... Вот и деревня... Моя изба. Проходите, мадам, прошу вас...» — «Господи, как ты здесь живешь? Никогда не была в избе.

Окошечки. Печки. Это что?» — «Умывальник».— «Боже мой, сколько мух! И темно... Кто вот здесь спит?» Я взял ее на руки и положил на кровать... «Здесь жестко. Это с непривычки. Ты скучал обо мне?» — «Очень».— «Войти может кто-нибудь?» — «Нет, я запер дверь.» — «Ох, Боренька, подожди, вот так. Милый мой...»

Я стою у окна. На дороге прыгают воробьи. Сколько их? Один, два, три, четыре...

— Борис, ну, может, так... Ведь многие сходятся и живут. А любовь потом приходит...

— Рита...

— Ну, не буду, не буду. Иди сюда. Сегодня мы последний раз встретились. Иди сюда. Я уезжаю.

— Куда?

— Это неважно. Сначала на юг, в Крым съезжу, а там видно будет...

— Ты хороший, Борис, наклонись,— она провела рукой по моим волосам,— ты будешь вспоминать меня? Будешь, я знаю...

Вскоре мы уходим к озеру. Поздно вечером уезжаем в Кедринск.

Квартира Николая на втором этаже. Свет в окне горит. Дверь не закрыта. Он в коляске, которая движется при помощи ручного рычага. Мы здороваемся, как будто ничего не случилось. Я ставлю на стол бутылку, закуски.

— Тебе можно, Николай?

— Вполне.

Он при помощи рук, одним рывком взбирается на стул. Поправляет ноги руками.

— Почему ты мне ничего не писал об этом?

— Я сам не знал,— усмехается он,— будь здоров!

Я шел к нему и заранее бодрился, чтобы и разговаривая с Николаем быть бодрым. Но он коротко и живо говорит о себе: в позвоночнике потревожен нерв, через год там должно набраться какой-то жидкости, потом зарастет, и все наладится.

— А пока,— он задирает штанины и показывает кости, обтянутые кожей, И набрасывается на меня с вопросами о деревне. Он внимательно слушает, сидя на стуле или перебирается в коляску. Покачивая головой, неслышно катается, то и дело задавая вопросы. Когда я рассказал, что и Баранова заставили прошедшей весной посеять кукурузу и на площади в девяносто гектаров ничего не выросло, он тихо произносит:

— Да, старые песни: усердие все превозможет, заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет. Как это страшно! Я слышал об этом. Но говорят как-то со смешком. С особым смешком, от которого пахнет юродством. Да, да. Я теперь читаю много, думаю... Вот и ты говоришь об этих диких вещах с какой-то издевкой над самим собой.

Не юродство ли это, приглаженное образованием? Юродство — древнейшая черта характера русских. «Я вот недавно читал,— кивнул он на стопку книг, лежащих на окне,— как люди, покрытые язвами, искалеченные, с бездумной радостью, паясничая, захлебываясь восторгом, глумились сами над собой перед толпой. И все это от их бессилия. Впрочем, ладно,— он засмеялся,— ты когда едешь в деревню?»

— Ухожу завтра утром. Кто у тебя убирает?

— Внизу шофер живет. Я с ним меняюсь квартирой. Буду на первом этаже жить. Его сестра приходит ко мне.

Он снова забрался на стул.

— У меня к тебе просьба, Борька... Передай Краевской, что я приехал.

— Зачем?

— Мне надо.

— Она сучка.

Он морщится.

— Не надо так. И не паясничай: я больше тебя знаю. Передашь?

— Хорошо.

В гостинице мое место уже занято. Я остаюсь ночевать у Николая. Разговаривали почти до утра. И странно то, что, когда, позавтракав с Николаем,

я ухожу от него, я не испытываю неловкости здорового человека перед калекой: он бодр, впереди меня выезжает на лестничную площадку, энергично пожимает руку.

...Познакомился с двумя молоденькими учительницами, они живут в домике рядом со школой. Двухэтажная, бревенчатая школа стоит на отшибе от Вязевки на берегу озера. Сейчас она пустует. Через школьный двор вьется тропинка, сокращающая путь между Клинцами и Вязевкой.

— Вот полюбуйся,— сказал мне однажды Баранов, когда мы проходили через двор. Я оглянулся, но никого не увидел.— Второй год живут, а окна газетками завешивают. И на кой черт таких присылают сюда?

Комнатка учительниц не велика, но когда заходишь, она кажется просторной. Потому что стены голы. Обстановка студенческая: две кровати, две тумбочки, стол, табуретки. Одежда подруг хранится в чемоданах и на вешалке под простынью. Одну учительницу звать Лениной, вторую Галей. Ленина воспитывалась в детдоме. Душой и внешностью она совсем девочка. Во время моего первого визита в домик говорили о школьниках, о воспитании. Ленина с ужасом на лице рассказывала о том, что творится в ее классе. Она покраснела и вышла из комнаты, сунув мне в руки записочки, отобранные у школьников, и сказав:

— Прочтите. Это ученики пятого класса.

На бумажках были написаны похабные стишки.

— Ходила к их родителям,— говорила Ленина,— те и не удивились ничему. А при мне как загнут, загнут на детей... Я и не хожу больше...

Бранила местных учителей. У всех у них семьи, хозяйство. Ни минутки в школе не задержатся, проведут уроки и разбегаются по домам. Тетради с проверки возвращают ученикам засаленными, в пятнах. Директор школы Гальянов требует от учителей завышения оценок, ведет себя грубо. Учителя молча с ним соглашаются. Ленина пробовала восстать. Сами же учителя сделали ей внушение: «Ты вот выйди замуж, нарожай детей, обзаведись хозяйством. Тогда посмотрим, какую песенку запоешь». А для учительницы Гайдабуровой, правой руки директора, сено — он, зерно — она.

— Я не знаю, как я тут буду работать,— складывает Ленина свои тонкие ручки на груди,— уехать бы. Но куда пойдешь?

Галя старше своей подруги. О школьных делах говорить не любит. Вспоминает Москву, где жила, училась, где остались ее подруги. Даже в магазин она ходит в туфельках на высоких каблучках, с подведенными бровями. И красивое лицо ее постоянно выражает неприступность, гордость и презрение к окружающему. Зашел разговор о деревенских парнях, она брезгливо поморщилась.

— Такие грубияны, хамы... Фу!..

В Заветах живет молодой парень Гришка Миловзоров — плакатно-красивый блондин. После армии он скитался по городам, нигде не ужился с начальством. Вернулся в родные края и ведет жизнь деревенского забулдыги. Портит девок, таскается по вдовам, которые поят, кормят его.

Приехав сюда, Галя ходила в клуб, там и встретилась с Миловзоровым. Теперь сама удивляется: откуда у нее взялось столько сил, что вырвалась из рук Миловзорова, когда тот провожал ее. Недели две Гришка вел вечерами осаду домика. Хрипел за дверью:

— Выходи, Галина, все равно я не отстану. Я жениться на тебе хочу, слышишь?

Пришлось обратиться к участковому Верейскому. Но едва стемнеет, она все равно никуда не ходит одна...

Возвращаясь в Клинцы, я иногда захожу к учительницам «на огонек». Однажды Галя сказала:

— Пойдемте я вас провожу немного...

Вечер был тих и сух. Уже ползли сумерки из леса. Мы пошли по тропинке, бежавшей в сторону от Клинцов. И вдруг тропинка растворилась по поляне.

— Вот это моя полянка,— сказала Галя, останавливаясь передо мной,— правда хорошая?

— Хорошая. Еще не скошена почему-то...

Глядя мне в глаза, она подошла вплотную, вскинула руки мне на плечи и вдруг разрыдалась. Я оторопел.

Потом, утирая ее слезы, что-то говорил и шептал. Мы присели.

— Не плачь, не плачь,— говорил я,— в чем дело?

— Не знаю...

И опять плакала и говорила, сжимая мои руки своими сильными тонкими пальчиками, что она никудышная. Ничего она не знает, всего боится. Всю жизнь она готовилась к какой-то трудной, прекрасной жизни.

— А здесь пошлость, пошлость и больше ничего!

Потом она повела меня дальше в лес, показала сгнивший частокол, за которым домик, сложенный из серых камней, без крыши, с окнами, похожими на бойницы.

— Это монастырек был,— сказала она.

— Почему ты так думаешь?

— Мне так хочется. Я бы сейчас ушла в монастырь. Не смейся. Откуда это у меня, не знаю. Но вот проберусь сюда, стану и стою у стены. Вот здесь. Представляю тихих монашек. Все они в черном, и музыка играет. Нежная, грустная, чистая...

Она вздрогнула.

— Да, был бы монастырь, ушла бы от этой пошлости. Все лгут, лгут.

— Оставь такие мысли, Галя. Все это пройдет. Жизнь чертовски сложна. Ты только со школьной скамьи...

— Ах, какой я ехала сюда, Борис,— говорила она, не слушая меня,— ну ладно,— она улыбнулась,— оставим все это...

Разошлись мы поздно, она просила, чтобы Ленина ничего не знала о нашей встрече.

— Она совсем еще девочка, пусть ничего не знает...

А через неделю Галя уехала в отпуск, не простившись со мной. Ленина живет одна. С вечера запирается, читает книги. Хотела съездить в Тамбов, где находился ее детдом, писала туда. Из горсовета ответили, что детдом переведен куда-то на юг. Без подруги Ленина стеснялась встречаться со мной, боясь разговоров. И я к ней не захожу...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В четверг я заглянул утром в правление. Бухгалтер Иваныч подает телефонограмму: Гуркин вызывает меня срочно в контору, на попутной машине доезжаю до Сорокина, от Сорокина пешком. С начальником сталкиваюсь в коридоре конторы.

— А-а, сын, заходи. Заходи, заходи... Экий вы народ пошел обидчивый... все к Самсонову да к Шусту ходишь, а ко мне ни шагу. Садись за стол, пиши докладную о состоянии дел... М-м... Составь список нужных материалов.

— И то и другое я писал уже не раз,— угрюмо говорю я.

— Пиши, пиши, да побыстрей! Приехали из райкома. В два часа планерка в тресте. И ты будешь присутствовать.

Он хватается за голову, берется за телефонную трубку, но никуда не звонит.

— Кто приехал, Холков?

— Нет. Второй секретарь Замятный, зоотехник, еще кто-то.... Черт! Самсонов как знал — уехал в командировку! Пиши.

Он куда-то уносится.

В четырнадцать ноль-ноль сидим с ним за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Вон Замятный, зоотехник Варварова. У нее узкое лицо, огромные глаза, окруженные синевой. Она курит и кутается в пуховый платок. Рядом с ней завотделом по строительству в колхозах Иванов, мой ровесник. Я встречался с ним в деревне. Мы киваем друг другу.

Голый череп управляющего поднялся над торцом стола.

— Все собрались. Гуркин, твой мастер здесь?

— Я здесь.

— Начнем...

— Товарищи,— Замятный провел по столу ладонью,— к нам поступили сигналы о том, что строительство свинарника в деревне Клинцы и коровника в деревне Заветы опять затягивается. На носу осень, товарищи. Вы понимаете, чем зто грозит? Были постановления, решения, брали обязательства. А дела подвигаются туго. Почему? В чем дело?

Молчание.

— Ну, говори ты,— кивает управляющий на Гуркина.

Гуркин встает.

— Согласно постановлению бюро парткома и решению, принятому на бюро райкома от второго июня сего года, мною были выделены дополнительные бригады рабочих в колхоз. Мы завезли туда весь необходимый материал, начиная, так сказать, от гвоздя и кончая шифером. Мы устроили там складской пункт. Руководит там инженер Картавин,— Гуркин кивает в мою сторону.— За последний месяц выполнено работ на сто пятнадцать тысяч рублей, что по сравнению с прошлыми месяцами есть значительный скачок, так сказать. В процентном отношении...

Он говорит как по написанному. Говорит долго, приводит цифры выполнения. Наконец обрушивается на Баранова, который срывает работу тем, что не дает лесоматериалов.

— Я отослал туда лучшую из лучших бригад бетонщиков! — входит он в раж,— там самые лучшие бригады плотников! Дальше, товарищи, так продолжаться не может. Не может! Люди начинают простаивать, выработка падает. Нужно что-то предпринимать.

Он садится, свирепо озирается, утирая лицо платком.

Замятный обращается ко мне:

— Что вы скажете?

— Нужно вначале заготовить пиломатериалы,— говорю я,— потом присылать две бригады хороших плотников. Они за полтора месяца все там сделают.

— Как же заготовить эти лесоматериалы? Вы же знаете — колхоз не в состоянии сейчас зто сделать.

— Этого я не знаю. Пилорама там ни к черту не годится. Ее давно пора сдать в утиль. Энергии там тоже нет.

Управляющий берет трубку, вызывает своего заместителя Брунштейна.

— Ты появился, Марк Осипович? Зайди ко мне.

Толстый Брунштейн, узнав, в чем дело, изумляется:

— Как же так? Что ж это такое? Я сам лично посылаю туда слесаря. Я отослал туда запасные пилы, я достал новый шкив! Почему вы до сих пор молчали? — Это он ко мне.

— Я не молчал. Я докладывал начальнику, обращался в партком.

— Ну почему вы не обратились ко мне?

— У меня есть начальство. И к вам, кажется, никто из мастеров не обращается с такими вопросами.

— Гм...

Управляющий спрашивает меня, сколько выпиливают за смену досок. И зтим вопросом выправляет неверный ход Брунштейна. Заговорили о пилораме, об энергии, о ГЭС. Все говорят много, громко, все возмущаются.

Если б сейчас была весна, возможно, основной вопрос опять бы погряз в разборе мелочей, причин. Но...

— Если мы не придем к какому-то решению, придется ставить вопрос на бюро райкома,— Замятный оглядел всех.— На бюро разговор будет серьезный.

Молчание. Управляющий говорит то, что мог бы сказать и полтора года назад:

— Что ж... Придется везти доски отсюда. Повезем в лес дрова.

Все оживились. Брунштейн протягивает мне блокнот, говорит, чтобы я написал, каких и сколько нужно досок.

— Завтра же начнем возить. Дорога как там? Завтра я сам приеду...

На следующий день приползают к складу шесть лесовозов с досками.

Пришла новая бригада плотников. Расселив их, веду к свинарнику. И мне весело, я уже вижу конец работы. Но что это?

В деревню въехал «козел» управляющего. Шофер Николай вылез из машины, озирается. Я спешу к нему.

— Садись, Борис, поехали!

Едем в машине, и Николай рассказывает, что «Восходу» еще выделили деньги на строительство птичника, овощехранилища. В колхозе «Красный пахарь» надо строить мастерские и коровник, в «Искре» — два свинарника, а в «Заре» — телятник и коровник. Начальство все в райкоме, его послали за мной...

А в десятом часу вечера прохаживаюсь в маленькой комнатке, составляющей, наверное, сотую часть объема двухэтажного длинного дома — бывшей солдатской казармы. Здесь живут рабочие разных профессий. В длинном коридоре, разделяющем дом на две половины, у дверей, стоят помойные ведра, детские горшки. Когда кто-нибудь проходит, поднимается туча мух, перегородки между комнатами обшиты сухой штукатуркой. Не надо напрягать слух, чтобы узнать, что творится у соседей. Соседи слева от меня молодожены, справа живет пожилой плотник с семьей. Я смотрю в окно.

«Картавин там освоился в местных условиях, о нем хорошо отзываются, он и будет вести работу».

Это говорил Гуркин, за ним Холков. Составили график. Построить нужно быстро. Холков сказал, что обязательно включат в план тресту колхозную стройку. Если так, то ничего, но когда это включат?

Дверь распахивается. Входит Маердсон, за ним все остальные. Приехал в коляске Николай. Даже Федорыч здесь. Маленькая комнатка, где я изредка буду только ночевать,— солидный предлог для солидной выпивки.

— А ты, братец мой, проспорил,— Федорыч берет меня за плечо и с детской радостью сообщает: — Штойфа-то тю-тю, нету! Убрали!

— Куда ж его? — смеюсь я.

— В сметный отдел перевели. Я говорил тебе...

Маердсон замер со стаканом в руке.

— Тише...

У соседей слева что-то скрипит ритмично и со скрежетом. Стон. Вздохи. Глухой голос, шепот и шлепанье босых ног.

— Спокойно, ребята, за будущего гражданина! Не надо шуметь.

Федорыч еще не знает, какой я ему устроил подвох. Подсаживается ко мне, рассказывает о делах в городке.

— Жуков у тебя работает? Никуда не перевели?

— Нет,— качает прораб головой.

Я говорил с Холковым и с управляющим. Жуковцев и еще одну бригаду плотников обещали прислать ко мне.

Окончание следует